# Пироги и пиво, или Скелет в шкафу

# Уильям Сомерсет Моэм

## Предисловие автора

Этот роман я сначала задумал как рассказ, и к тому же не очень длинный. Вот какую запись я сделал, когда у меня появился его замысел: «Меня просят написать воспоминания о знаменитом романисте, друге моего детства, живущем в У. с женой, заурядной женщиной, отнюдь не сохраняющей ему верности. Там он пишет свои великие произведения. Позже он женится на своей секретарше, которая с ним нянчится и делает из него выдающуюся личность. Мои размышления о том, не вызывает ли у него даже в преклонном возрасте некоторого беспокойства то, что его превращают в монумент».

В то время я писал серию рассказов для журнала «Космополитен». Согласно контракту, каждый из них должен был иметь размер от 1200 до 1500 слов, чтобы вместе с картинкой занимать не больше полосы журнала. Иногда я давал себе волю — тогда картинка переходила на противоположную полосу, и мне освобождалось еще немного места. Я решил, что этот сюжет пригодится для такой цели, и держал его в запасе.

Но образ Рози я вынашивал уже давно. Многие годы я хотел о ней написать, но для этого все не представлялось удобного случая. Я никак не мог изобрести такую ситуацию, в которой для нее нашлось бы подходящее место, и уже начал было думать, что из этого так ничего и не получится. Да и не очень я об этом жалел. Персонаж, живущий в голове автора, еще не написанный, остается в полной его власти; мысли автора постоянно к нему возвращаются, воображение понемногу его обогащает, и все это время автор испытывает своеобразное наслаждение от того, что там, у него в голове, живет разнообразной и трепетной жизнью некто покорный капризам его фантазии и в то же время каким-то странным образом наделенный собственной, от него не зависящей волей. Но как только образ перенесен на бумагу, он больше не принадлежит писателю. Он забыт. Просто удивительно, насколько безвозвратно перестает после этого существовать личность, которая на протяжении, может быть, многих лет занимала ваши мысли.

И вдруг мне пришло в голову, что в моем наброске есть тот самый подходящий для этого персонажа фон, который я искал. Сделаю-ка я ее женой моего знаменитого романиста! Я понял, что такой сюжет мне никак не втиснуть и в две тысячи слов, и поэтому решил немного повременить и воспользоваться этим материалом для одного из рассказов подлиннее, на 14—15 тысяч слов, с которыми начиная с «Дождя» я не без успеха выступал. Но чем больше я размышлял, тем меньше мне хотелось потратить свою Рози даже на такой рассказ. На меня нахлынули старые воспоминания. Я понял, что сказал еще далеко не все, что хотел, о городке У. из своего наброска, который в «Бремени страстей человеческих» назвал Блэкстеблом. Почему бы теперь спустя столько лет не подойти ближе к подлинным фактам? Так дядя Уильям, священник из Блэкстебла, и его жена Изабелла превратились в приходского священника дядю Генри и его жену Софи. А Филип Кэри из той, ранней, книги в «Пирогах и пиве» стал «мною».

Когда книга вышла, она навлекла на меня с разных сторон обвинения в том, будто под именем Эдуарда Дриффилда я изобразил Томаса Гарди. Но я такого намерения не имел. Гарди подразумевался мной не в большей степени, чем Джордж Мередит или Анатоль Франс. Как видно из того первого наброска, моя мысль состояла в том, что преклонение, окружающее писателя, когда он находился на склоне лет и на вершине славы, должно быть, раздражает в нем ту живую искорку духа, которая все еще сохранила способность откликаться на полеты его фантазии. Я подумал, что ему, наверное, приходит в голову множество странных, беспокойных дум, хотя внешне он хранит то достоинство, какого требуют от него почитатели.

Когда я в восемнадцатилетнем возрасте прочитал «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», я пришел в такой восторг, что твердо решил жениться на молочнице; но другие книги Гарди не производили на меня такого сильного впечатления, как на большинство моих современников, и я не считал его таким уж блестящим стилистом. Он никогда не интересовал меня так, как одно время Джордж Мередит, а позже — Анатоль Франс. Биографию Гарди я знал плохо. Да и теперь я знаю ее лишь настолько, чтобы с уверенностью утверждать: совпадения между ней и жизнью Эдуарда Дриффилда очень незначительны. Они сводятся только к тому, что оба начинали в бедности и оба были женаты дважды.

Встречался с Томасом Гарди я всего один раз. Это было на обеде у леди Сент-Хельер, более известной в светском обществе того времени под именем леди Жен. Она, хотя и жила в гораздо более чопорном мире, чем нынешний, любила приглашать к себе каждого, кто так или иначе привлек внимание публики. А я был тогда популярным и модным драматургом. Это был один из тех пышных обедов, какие устраивались до войны, — с множеством блюд, с супом и бульоном, рыбой, несколькими горячими закусками, шербетом (чтобы гости могли перевести дух), жарким, дичью, десертом, мороженым и сладким. За столом сидело двадцать четыре человека, и каждый из них был персона, чем-нибудь выдающаяся: или почетным титулом, или положением в обществе, или своим вкладом в искусство. Когда дамы удалились в гостиную, моим соседом оказался Томас Гарди. Помню, это был маленький человечек с грубыми чертами лица. Одетый во фрак и крахмальную рубашку со стоячим воротничком, он все равно чем-то странно напоминал о земле. Он был любезен и учтив. Меня тогда поразила в нем какая-то любопытная смесь застенчивости и самоуверенности. Не помню, о чем мы говорили, но знаю, что разговор продолжался три четверти часа. Под конец он удостоил меня большого комплимента — спросил (не слышав раньше моего имени), чем я занимаюсь.

Говорят, что в образе Элроя Кира два-три писателя нашли намек на себя. Но они ошиблись. Этот персонаж — собирательный: от одного писателя я взял внешность, от другого — тягу к хорошему обществу, от третьего — сердечность, от четвертого — гордость своей спортивной удалью, и вдобавок довольно много — от себя самого. Дело в том, что я обладаю незавидной способностью сознавать свою собственную нелепость и нахожу в себе много достойного осмеяния. Думаю, именно поэтому (если верить всему, что я часто о себе слышу и читаю) я вижу людей в не столь лестном свете, как многие авторы, таким злополучным свойством не обладающие. Ведь все образы, которые мы создаем, — это лишь копии с нас самих. Конечно, не исключено, что другие писатели и в самом деле благороднее, бескорыстнее, добродетельнее и возвышеннее меня. В таком случае естественно, что они, будучи сами ангелами во плоти, создают своих героев по собственному образу и подобию.

Когда же я захотел нарисовать портрет писателя, который пользуется любыми средствами, чтобы разрекламировать свои книги и обеспечить им сбыт, мне не нужно было присматриваться к какому-то определенному человеку: это слишком обычное явление. К тому же оно не может не вызывать сочувствия. Каждый год остаются незамеченными сотни книг, многие из которых обладают большими достоинствами. Автор каждой такой книги писал ее много месяцев, а думал о ней, может быть, много лет; он вложил в нее какую-то часть самого себя, которой он после этого уже навсегда лишился. Сердце разрывается, когда думаешь, как велика вероятность, что эта книга потеряется в потоке произведений, загромождающих столы критиков и обременяющих полки книжных лавок. Ничего нет противоестественного в том, что автор пользуется для привлечения внимания публики любыми доступными ему средствами. Что именно следует для этого делать, его учит опыт. Он должен превратиться в общественного деятеля; он должен постоянно находиться в поле зрения. Он должен давать интервью и добиваться, чтобы его фотографии печатали в газетах. Он должен писать письма в «Таймс», выступать на митингах и заниматься социальными проблемами, он должен произносить послеобеденные речи; он должен высказываться о книгах, которые рекламируют издатели: и он должен неукоснительно появляться там, где нужно, в те моменты, когда нужно. Он не должен допускать, чтобы о нем забыли. Это нелегкая и беспокойная работа, ибо ошибка может дорого ему обойтись. Было бы жестоко не сочувствовать автору, прилагающему такие усилия, чтобы уговорить мир прочесть книгу, которую он искренне считает этого достойной.

Есть лишь один вид рекламы, который я презираю, — это вечера, устраиваемые по выходе книги. Автор обеспечивает присутствие на таком вечере фотографа, приглашает светских хроникеров и всех выдающихся людей, с которыми знаком. Хроникеры, по крайней мере, хоть уделяют ему абзац в своих статьях, а фотографии печатаются в иллюстрированных журналах, — выдающиеся же люди приходят только за тем, чтобы получить даром экземпляр книги с автографом. Этот позорный обычай не становится менее предосудительным в тех случаях, когда предполагается (иногда, несомненно, справедливо), что вечер устроен за счет издателя. Когда я писал «Пироги и пиво», такие вечера еще не вошли в моду, а они могли бы дать мне материал еще для одной яркой главы.

## 1

Я заметил, что, когда кто-нибудь звонит вам по телефону и, не застав вас дома, просит передать, чтобы вы немедленно, как только придете, позвонили ему по важному делу, дело это обычно оказывается важным не столько для вас, сколько для него. В тех случаях, когда речь идет о том, чтобы сделать вам подарок или оказать услугу, большинство людей способно взять себя в руки и не проявлять чрезмерного нетерпения. Поэтому, когда я пришел домой как раз вовремя, чтобы успеть выпить рюмочку, покурить, прочитать газету и одеться к обеду, и узнал от своей квартирной хозяйки мисс Феллоуз, что меня просил немедленно позвонить мистер Элрой Кир, то я решил, что вполне могу пренебречь его просьбой.

— Это не тот писатель? — спросила она.

— Он самый.

Она ласково взглянула на телефон.

— Соединить вас с ним?

— Нет, спасибо.

— А что сказать, если он опять будет звонить?

— Спросите его, что мне передать.

— Хорошо, сэр.

Мисс Феллоуз осталась недовольна. Она захватила пустой сифон, окинула взглядом комнату, чтобы удостовериться, все ли в порядке, и вышла. Мисс Феллоуз — большая любительница литературы. Я не сомневаюсь, что она прочла все книги, написанные Роем. И была от них в восторге — об этом свидетельствовало то, что она явно не одобрила мое пренебрежение к его звонку.

Вернувшись домой снова, я нашел на буфете записку, написанную ее крупным, разборчивым почерком: «Мистер Кир звонил два раза. Не можете ли вы завтра с ним пообедать? Если нет, то какой день был бы вам удобен?»

Я удивленно поднял брови. В последний раз я виделся с Роем три месяца назад, да и то всего каких-нибудь несколько минут на одном званом обеде. Он был, как всегда, очень дружелюбен и, когда мы расставались, выразил сожаление, что мы так редко видимся.

— Ужасное место этот Лондон, — сказал он. — Вечно не хватает времени повидать тех, кого хочется. Давайте на будущей неделе как-нибудь вместе пообедаем, а?

— С удовольствием, — ответил я.

— Я загляну в свою записную книжку, как приеду домой, и позвоню вам.

— Ладно.

Я знаком с Роем уже двадцать лет и знаю, что маленькая записная книжка, куда он записывает все назначенные свидания, всегда у него с собой, в верхнем левом кармане жилета. Поэтому я не удивился, так и не дождавшись его звонка. И теперь я никак не мог заставить себя поверить, что он бескорыстно стремится проявить гостеприимство. Куря трубку перед сном, я перебирал возможные причины, по которым Рою могло понадобиться, чтобы я с ним пообедал. Может быть, какая-нибудь его поклонница пристала к нему с просьбой познакомить ее со мной; может быть, эту встречу просил организовать приехавший на несколько дней в Лондон американский издатель. Но я был бы несправедлив к своему старому приятелю, если бы подумал, что у него не хватит изобретательности выкрутиться. Кроме того, он просил назначить день по моему выбору, а значит, вряд ли собирался с кем-то меня свести.

Никто не может лучше Роя проявить самую искреннюю сердечность по отношению к собрату писателю, чье имя у всех на устах; и никто не может столь же добродушно отвернуться от него, когда бездеятельность, неудача или чужой успех затмевают его славу. У всякого писателя бывают взлеты и падения, и я прекрасно сознавал, что в тот момент не находился в центре внимания публики. Очевидно, я мог бы найти повод вежливо отклонить приглашение Роя, хотя он человек решительный, и если бы ему для каких-то своих целей понадобилось встретиться со мной, то остановить его можно было бы, только недвусмысленно послав к черту. Но меня одолело любопытство. Кроме того, я питаю к Рою самые теплые чувства.

Я с восхищением следил за его успехами в литературном мире. Его карьера могла бы служить образцом для любого начинающего писателя. Не припомню ни одного из своих современников, кто добился бы такого значительного положения с таким небольшим талантом. Талант Роя, как умеренная доза лекарства, мог бы уместиться в одной столовой ложке. Он прекрасно это понимал, и временами ему, должно быть, казалось почти чудом, что он ухитрился сочинить уже около тридцати книг. Я не могу не предположить, что он впервые прозрел, прочитав, что гениальность, как сказал однажды в послеобеденной речи Томас Карлайл, — не что иное, как бесконечная работоспособность. Это запало ему в голову. «Если все дело в этом, — сказал, вероятно, он себе, — то и я могу быть гением не хуже других». И когда один экзальтированный критик на страницах дамского журнала впервые назвал его гением (а в последнее время критики делают это все чаще), он, наверное, удовлетворенно вздохнул, как человек, после многочасовых стараний решивший кроссворд. Ни один из тех, кто многие годы был свидетелем его неустанного труда, не может отрицать, что право на гениальность он, во всяком случае, заработал.

Свой жизненный путь Рой начал при довольно благоприятных обстоятельствах. Он был единственный сын государственного деятеля, который, прослужив много лет в колониальной администрации Гонконга, закончил свою карьеру губернатором Ямайки. Отыскав Элроя Кира на убористых страницах справочника «Кто есть кто», вы могли бы прочесть: «Един. с. сэра Реймонда Кира (см;), КОМГ,[[1]](#footnote-1) КОВ,[[2]](#footnote-2) и Эмили, мл. доч. покойного генерал-майора Перси Кэмпердауна (Индийская армия)».

Образование Рой получил в Винчестере и в Новом колледже Оксфорда. Он был президентом студенческого общества и, если бы, к несчастью, не заболел корью, то вполне мог бы войти в университетскую команду на ежегодных лодочных гонках. Годы учения он провел без особого блеска, но зато вполне добропорядочно и долгов к окончанию университета не имел. Даже тогда он отличался бережливостью, не проявлял склонности сорить деньгами и был примерным сыном. Он знал, что его родители многим пожертвовали, чтобы дать ему такое дорогостоящее образование. Отец его, выйдя в отставку, жил в скромном, но вполне приличном доме близ Струда, в Глостершире, и время от времени приезжал в Лондон, чтобы присутствовать на парадных обедах, имевших отношение к колониям, которыми он когда-то управлял. В таких случаях он обычно заходил в клуб «Атенеум», где состоял членом. Через старого приятеля по клубу он сумел добиться, чтобы Роя по окончании Оксфорда взяли в наставники к сыну одного очень знатного лорда, отличавшемуся слабым здоровьем. Это позволило Рою смолоду познакомиться с высшим светом. Такой возможности он не упустил. В его книгах не найти тех ляпсусов, какие попадаются в произведениях писателей, изучавших жизнь светского общества лишь по иллюстрированным журналам. Он знал, как разговаривают между собой герцоги и как к ним адресуются члены парламента, адвокаты, букмекеры и камердинеры. Есть что-то пленительное в том изяществе, с каким он в своих первых повестях обращается с вице-королями, посланниками, премьер-министрами, членами королевской семьи и высокопоставленными дамами. Он дружелюбен без покровительственности и фамильярен без дерзости. Он не дает вам забыть об их положении, но вместе с вами с удовлетворением сознает, что они созданы из той же плоти, как и каждый из нас. Я всегда жалел, что по приговору моды жизнь аристократии перестала быть подходящей темой для серьезной литературы, и Рой, всегда чуткий к веяниям времени, вынужден в поздних повестях ограничиваться духовным миром присяжных поверенных, бухгалтеров и маклеров. В этих кругах он чувствует себя далеко не так свободно.

Я впервые познакомился с ним вскоре после того, как он перестал быть наставником и целиком посвятил себя литературе. Это был тогда видный, статный молодой человек шести футов роста, атлетического сложения, с широкими плечами и уверенными движениями. Он был некрасив, но по-мужски приятен на вид, с большими, честными голубыми глазами и волнистыми светло-каштановыми волосами; у него был довольно короткий, широкий нос и квадратный подбородок. Сразу видно — честный, чистый, здоровый человек.

Он много занимался спортом. Прочитав в его ранних книгах такие точные и яркие описания охоты с гончими, нельзя было усомниться в том, что он писал по собственному опыту; до самого последнего времени он, бывало, покидал свой письменный стол, чтобы денек поохотиться. Его первый роман вышел в те времена, когда литераторы, чтобы показать свою мужественность, пили пиво и играли в крикет; и в течение нескольких лет трудно было найти такую литературную команду, где не фигурировало бы его имя. Не знаю почему, но эта литературная школа сейчас утратила былое великолепие, на ее книги не обращают внимания, и, хотя их авторы остались крикетистами, им все труднее печатать свои произведения. Рой уже много лет назад бросил крикет и выработал у себя тонкий вкус к красным сухим винам.

Когда вышла первая повесть Роя, он держался очень скромно. Повесть была невелика, написана добротно и, как и все, что он писал с тех пор, без единой погрешности против хорошего вкуса. Он послал ее с любезным письмом всем тогдашним ведущим писателям и каждому написал, как он восхищается его произведениями, как много почерпнул, изучая их, и как искренне стремится следовать, пусть на подобающем расстоянии, по пути, проложенному адресатом. Он приносит свою книгу к ногам великого художника как дань уважения со стороны молодого, начинающего литератора к тому, кого он всегда будет считать своим учителем. Умоляя о снисхождении, сознавая, какая с его стороны дерзость — просить столь занятого человека тратить время на жалкие потуги новичка, он все-таки надеется услышать критическое слово и полезные указания.

Лишь немногие из авторов, к которым он братался, прислали в ответ вежливые отписки. Остальные были польщены и ответили подробно. Книгу они похвалили, а автора многие пригласили на обед. Их не могла не покорить такая искренность, не мог не согреть такой энтузиазм. Он просил их совета с трогательным смирением и обещал последовать ему с внушающей доверие непосредственностью. Вот человек, почувствовали они, на которого стоит потратить кое-какие усилия.

Повесть имела значительный успех. Она принесла ему обширные знакомства в литературных кругах, и вскоре ни одно парадное чаепитие в Блумсбери, Кэмден-Хилле или Вестминстере не обходилось без Роя, передающего бутерброды или поспешающего на помощь пожилой леди, чтобы взять у нее пустую чашку. Он был так молод, весел, прям, так заразительно смеялся чужим шуткам, что не мог не нравиться. Он вступил в обеденные клубы, члены которых — литераторы, молодые адвокаты и дамы в ярких платьях, увешанные бусами, — собирались в отелях Виктория-стрит или Холборна, чтобы съесть обед за три с половиной шиллинга и поговорить об искусстве и литературе. Скоро у него обнаружились немалые способности к произнесению послеобеденных речей. Он был так мил, что собратья писателя, его современники и соперники, простили ему даже благородное происхождение. Он не скупился на похвалы их незрелым произведениям, а получая на отзыв рукопись, никогда не находил в ней недостатков. Все решили, что он не просто славный парень, но и хороший ценитель литературы.

Рой написал вторую повесть. Он очень старался и не пренебрег советами, полученными от старших собратьев по ремеслу. Было лишь справедливо, что многие из них по его просьбе написали рецензии для газет, с редакторами которых договорился Рой, и было лишь естественно, что рецензии оказались лестными. Повесть имела успех, но не такой, чтобы возбудить у его соперников ревнивые чувства. Наоборот, она подтвердила их подозрение, что он звезд с неба не хватает. Он был отличный парень, ничуть не чванился, и каждый с удовольствием помогал человеку, который никогда не поднимется так высоко, чтобы стать помехой ему самому. Я знаю, что кое-кто теперь горько улыбается, размышляя о своей ошибке.

Но, когда говорят, что слава вскружила Рою голову, это неправда. Рой не утратил той скромности, которая в молодости была самой привлекательной его чертой.

— Я знаю, что я не великий писатель, — говорит он. — В сравнении с гигантами я просто не существую. Я думал, что когда-нибудь напишу действительно великую вещь, но уже давно перестал об этом даже мечтать. Я только хочу, чтобы обо мне говорили: он делает все, на что способен. Я тружусь. Я не позволяю себе никакой небрежности. По-моему, я хорошо умею строить сюжет, могу создавать героев, похожих на живых людей. Ну и, в конце концов, все проверяется на практике: в Англии было продано тридцать пять тысяч экземпляров «Игольного ушка», а в Америке — восемьдесят тысяч, и за право печатать мою следующую вещь предлагают столько, сколько мне никогда еще не платили.

В конце концов, что, кроме скромности, побуждает его даже сейчас писать рецензентам, благодарить их за похвалу и приглашать на обед? Больше того, когда кто-нибудь резко его критикует, — а Рой, особенно с тех пор, как его репутация упрочилась, не раз подвергался очень злобным нападкам, — он, в отличие от большинства из нас, не может просто пожать плечами, обругать про себя негодяя, которому не понравилась книга, и забыть об этом. Рой посылает критику длинное письмо, рассказывает, как ему жаль, что книга показалась плохой, но что рецензия сама по себе так интересна и, он берет на себя смелость сказать, свидетельствует о таком критическом чутье и вкусе, что он чувствует себя обязанным написать это письмо. Никто более его не стремится совершенствоваться, и он надеется, что еще способен чему-то научиться. Он не хотел бы навязываться, но если у критика нет никаких дел в среду или четверг, то не может ли критик пообедать с ним в «Савое» и объяснить: почему же именно он счел книгу столь плохой?

Никто не может заказать обед лучше Роя, и обычно оказывается, что, проглотив полдюжины устриц и хороший кусок седла молодого барашка, критик проглотил и свои претензии к Рою. Всего лишь справедливо, что, когда выходит следующая книга Роя, критик видит в ней большой шаг вперед.

Одна из трудностей, с которыми приходится сталкиваться в жизни, состоит в том, как быть с людьми, которые когда-то были вашими друзьями, но со временем перестали вас интересовать. Если положение обеих сторон по-прежнему скромно, то разрыв происходит сам собой и не оставляет никакого следа. Но если один из двоих достиг известности, то дело осложняется. У него множество новых друзей, но старые неумолимы; он очень занят, но они считают, что имеют преимущественное право на его время; если он не бежит по первому их зову, они вздыхают и, пожав плечами, говорят: «Ну что ж, ты, наверное, не лучше других. Как стал теперь большим человеком, так со мной и видеться не пожелаешь».

Разумеется, именно так он и хотел бы поступить, если бы у него хватило мужества. Но в большинстве случаев мужества не хватает. Он поддается и принимает приглашение на воскресный ужин. Холодный ростбиф оказывается чересчур холодным, сделанным из мороженого австралийского мяса, да еще пережаренным; а уж бургундское... и почему только они называют это бургундским? Неужели они никогда не бывали в Боне и не жили в «Отель-де-ля-пост»? Конечно, приятно поболтать о добром старом времени, когда вы делили в мансарде корку хлеба; но вам становится немного не по себе при мысли о том, как недалеко ушла от мансарды комната, в которой вы сидите. Вы успокаиваетесь, когда друг начинает рассказывать про свои книги, которых не покупают, и про свои рассказы, которых не печатают; режиссеры даже не читают его пьес, а когда он сравнивает их с тем, что ставят теперь (тут он бросает на вас укоряющий взгляд), то это, знаешь ли, просто обидно. Вы смущенно отводите глаза и преувеличиваете собственные неудачи, чтобы он понял, что и вам нелегко живется. Вы как можно пренебрежительнее отзываетесь о собственных произведениях, и вас слегка коробит, когда выясняется, что мнение о них хозяина совпадает с вашими словами. Вы говорите о непостоянстве публики, давая ему возможность утешиться мыслью, что и ваша популярность недолговечна. Он дружески, но строго критикует вас.

«Я не читал твоей последней книги, — говорит он, — но читал предпоследнюю. Забыл, как она называется».

Вы называете ее.

«Я ожидал от нее большего. По-моему, она не так хороша, как те, что ты писал раньше. Ты знаешь, конечно, какая мне больше всех нравится?»

Это не первый такой случай в вашей практике, и вы смело называете самую первую свою книгу. Вам тогда было двадцать лет, книга была бесхитростной и неумелой, и на каждой ее странице запечатлена ваша неопытность.

«Лучше тебе не написать, — говорит он от души, и вы чувствуете, что вся ваша карьера представляет собой долгий путь упадка по сравнению с той, первой удачей. — Мне все кажется, что ты не совсем оправдал те надежды, которые тогда подавал».

Газовое пламя в камине обжигает вам ноги, но ваши руки холодны как лед. Вы тайком поглядываете на часы и думаете, не обидится ли ваш друг, если вы уйдете в десять. Вы велели шоферу ждать за углом, чтобы машина не стояла у дверей и не оскорбляла своим великолепием бедности друга, но в дверях он говорит:

«Остановка автобуса в конце улицы. Я тебя провожу».

Вы в смущении сознаетесь, что у вас есть машина. Ему кажется очень странным, что она ждет за углом. Вы отвечаете, что это одна из причуд шофера. Когда вы садитесь в машину, друг смотрит на вас со снисходительным превосходством. Вы нервничаете и приглашаете его как-нибудь с вами отобедать. Пообещав прислать ему записку, вы уезжаете, размышляя, не подумает ли он, что вы хвастаете своей шикарной жизнью, если пригласите его в «Кларидж», или что вы скупердяй, если предложите Сохо.

Рой Кир избавлен от подобных переживаний. Если сказать, что он бросал людей, получив от них все, что мог, это прозвучит грубовато; но чтобы выразить то же самое деликатнее, потребуется столько времени и нужно будет так тонко подбирать легкие, игривые намеки и полутона, что поскольку, в сущности, дело обстоит именно так, то этим можно и ограничиться. Большинство из нас, поступив с кем-нибудь нехорошо, сохраняет к нему злобное чувство. Однако ничем не смущаемая душа Роя чужда такой мелочности. Сделав кому-нибудь большую гадость, он способен не питать потом к этому человеку никакой злобы.

«Бедный старина Смит, — говорит он. — Я так его люблю, он просто прелесть. Жаль, что он на меня злится. Я хотел бы что-нибудь для него сделать. Нет, я его уже много лет не видел. Не стоит пытаться поддерживать старую дружбу. Это болезненно для обеих сторон. Ведь человек вырастает из своих старых привязанностей, и тут уж ничего не поделаешь».

Но если он сталкивается с тем же Смитом на каком-нибудь приеме вроде закрытого вернисажа в Королевской академии, — никто не может быть более сердечным. Он трясет Смита за руку и говорит, как восхищен встречей. Лицо его сияет. Он источает дружеские чувства, как благостное солнце — свои лучи. Смит приходит в восторг от такой удивительной сердечности: со стороны Роя было чертовски мило сказать, что он не пожалел бы ничего, лишь бы написать такую книгу, как последняя книга Смита.

Если же Рою кажется, что Смит его не видит, он старается отвернуться и смотреть в другую сторону. Однако Смит его видел и остается недоволен тем, что Рой им пренебрег. Смит принимается язвить. Он говорит, что прежде Рой был рад разделить с ним бифштекс в скверном ресторанчике или провести с ним отпуск в рыбачьей хижине в Сент-Айвсе. Смит говорит, что Рой — предатель. Он говорит, что Рой — сноб. Он говорит, что Рой — лицемер.

Однако в этом Смит не прав. Самая яркая черта Элроя Кира — его искренность. Нельзя лицемерить на протяжении двадцати пяти лет. Лицемерие — самый трудный и утомительный порок из всех, которым человек может предаваться. Оно требует постоянной бдительности и редкой целеустремленности. В нем нельзя упражняться на досуге, как в прелюбодеянии или чревоугодии; оно занимает все ваше время. Лицемерие требует еще и циничного юмора, и, хотя Рой много смеется, я никогда не думал, что чувство юмора у него сильно развито; а уж циником он быть не способен — в этом я уверен. Хоть я дочитал до конца лишь некоторые его книги, но начинал читать многие из них. По-моему, печать искренности лежит на каждой из их многочисленных страниц. Именно это, очевидно, и было главной причиной их устойчивой популярности. Рой всегда искренне верил в то, во что в тот момент верили все остальные. Когда он писал повести об аристократии, он искренне верил, что ее представители развращены и аморальны, но все же им присуще известное благородство и врожденная способность управлять Британской империей. Позже, начав писать о средних классах, он искренне верил, что это хребет нации. Его негодяи всегда были гнусными, герои — возвышенными, а девы — чистыми.

Когда Рой приглашает на обед автора лестной рецензии, то делает это потому, что искренне ему благодарен за доброе мнение; а когда приглашает автора нелестной рецензии, то делает это потому, что искренне стремится исправиться. Когда в Лондон приезжают его неизвестные поклонники из Техаса или Западной Австралии, он водит их по Национальной галерее не только из уважения к своим читателям; он делает это потому, что искренне интересуется впечатлением, которое производит на них искусство.

Чтобы убедиться в его искренности, достаточно послушать, как он читает лекции. Когда он стоит на кафедре, в великолепно сидящем фраке или, если это более уместно, в свободном, не очень новом, но безукоризненно сшитом пиджаке, и серьезно, открыто, но с подкупающей скромностью смотрит на слушателей, нельзя сомневаться, что он относится к своей задаче с полной ответственностью. Хотя время от времени он притворяется, будто не может найти нужное слово, это делается только для того, чтобы оно прозвучало более эффектно. Его голос глубок и мужествен. Он хороший рассказчик и никогда не бывает скучным. Он любит читать лекции о молодых писателях Англии и Америки и разъясняет аудитории их достоинства с жаром, свидетельствующим о его великодушии. Быть может, он говорит далее слишком много, потому что, прослушав его лекцию, вы чувствуете, что уже все о них знаете и что вам вовсе не обязательно читать их книги. Я полагаю, именно поэтому после того, как Рой читает лекцию в каком-нибудь провинциальном городке, никто не покупает ни единой книги тех авторов, о которых он рассказывал, но зато спрос на его собственные всегда повышается.

Его энергия неистощима. Он не только совершал успешные турне по Соединенным Штатам, но и изъездил с лекциями всю Великобританию. Нет такого крохотного клуба или ничтожного кружка самообразования, которым Рой не уделил бы хоть часа. Время от времени он обрабатывает свои лекции и издает их в виде маленьких, аккуратных томиков. Большинство людей, этим интересующихся, по крайней мере, листали его книги «Современные романисты», «Русская литература» и «Некоторые писатели»; и лишь немногие будут отрицать, что в них чувствуется глубокое понимание литературы и личное обаяние автора.

Но этим отнюдь не исчерпывается его деятельность. Он активный член организаций, призванных защищать интересы авторов или облегчать их участь, когда болезнь или старость доводят их до нищеты. Он всегда рад помочь, когда в законодательных органах рассматриваются вопросы авторского права, и всегда готов войти в состав делегаций, посылаемых за границу для установления дружественных отношений между писателями разных стран. На приемах можно рассчитывать на его ответное слово от имени литературы, и он неизменно входит в комиссии для подобающей встречи какой-нибудь заморской литературной знаменитости. Ни один благотворительный базар не обходится без экземпляра хотя бы одной из его книг с автографом. Он никогда не отказывает в интервью. Он справедливо говорит, что никто лучше его не знает трудностей литературного ремесла, и что если он может, приятно поболтав с каким-нибудь скромным журналистом, помочь тому заработать несколько гиней, то у него не хватит жестокости ответить отказом. Обычно он приглашает интервьюера пообедать и редко производит на него невыгодное впечатление. Единственное условие, которое он ставит, заключается в том, чтобы просмотреть статью перед ее опубликованием. Его никогда не выводят из себя газетчики, которые в самые неподходящие моменты звонят знаменитому человеку и требуют сообщить читателям, верит ли он в бога или что ест на завтрак. Он принимает участие во всех публичных диспутах, и все знают, что он думает о сухом законе, вегетарианстве, джазе, чесноке, спорте, браке, политике и месте женщины в доме.

Его взгляды на брак остались абстрактными, ибо он успешно избежал этого состояния, которое столь многие деятели искусства с таким трудом пытались примирить со служением своему призванию. Всем известно, что в течение нескольких лет он питал безнадежную страсть к одной замужней даме из высшего света, и, хотя он говорил о ней не иначе как с рыцарственным преклонением, все догадывались, что она обошлась с ним жестоко. Об этом пережитом им испытании напоминает необычная горечь, которой проникнуты повести, написанные им в середине творческого пути.

Душевные муки, перенесенные им в то время, помогают ему вежливо уклоняться от авансов дам с сомнительной репутацией, которые когда-то были украшением веселых компаний, а теперь стремятся сменить непрочное настоящее на надежный брак с известным писателем. Как только он замечает в их ясных глазах тень брачной конторы, он говорит им, что память о его единственной большой любви не позволит ему принять на себя какие бы то ни было постоянные узы. Его донкихотство может их раздражать, но не может оскорбить. Он едва заметно вздыхает при мысли, что навсегда лишен радостей домашнего очага и отцовства, но он готов на эту жертву. Он заметил, что публика не желает иметь дела с женами писателей и художников. Художник, который повсюду, куда бы ни шел, берет с собой жену, лишь всем надоедает и поэтому часто оказывается не приглашенным туда, куда бы ему хотелось. Если же он оставляет жену дома, то по возвращении его ждет сцена. Это лишает человека покоя, столь необходимого, чтобы добиться всего, на что он способен. Элрой Кир холост, и теперь, когда ему минуло пятьдесят лет, ему, вероятно, предстоит таковым и остаться.

Он являет собой пример того, что может сделать и до каких высот может подняться писатель благодаря трудолюбию, здравому смыслу, честности и умелому сочетанию разнообразных хитростей и уловок. Он неплохой человек, и лишь злостный критикан мог бы позавидовать его успеху. Я почувствовал, что, если засну с мыслями о нем, это обеспечит мне безмятежный сон. Я нацарапал записку мисс Феллоуз, выколотил пепел из трубки, погасил свет в гостиной и лег спать.

## 2

Когда на следующее утро мне принесли газеты и письма, среди них был и ответ на записку, которую я оставил мисс Феллоуз. Он гласил, что мистер Элрой Кир ожидает меня в час пятнадцать в своем клубе на Сент-Джеймс-стрит. Около часа я заглянул в собственный клуб и выпил коктейль — на то, что меня угостит коктейлем Рой, я не особенно надеялся. Потом я не спеша прошелся по Сент-Джеймс-стрит, разглядывая витрины магазинов, и так как до назначенного времени оставалось еще несколько минут (я не хотел быть чересчур пунктуальным), то я зашел в аукционный зал Кристи посмотреть, не приглянется ли мне там что-нибудь. Аукцион уже начался, и стоявшие кучкой смуглые низкорослые люди передавали друг другу серебряные викторианские вещи, а аукционист, скучающим взглядом следя за их движениями, монотонно бормотал: «Предложено десять шиллингов, одиннадцать, одиннадцать с половиной...» Было начало июня, стояла прекрасная погода, воздух на улице был чист и прозрачен, и от этого картины на стенах аукционного зала казались очень тусклыми. Я вышел. Люди шли по улице весело и беззаботно, как будто им в душу проник покой этого дня, и среди своих дел они с удивлением ощутили внезапное желание остановиться и вглядеться в картину жизни.

Клуб Роя принадлежал к числу степенных. В вестибюле находились лишь швейцар преклонных лет и рассыльный, и мне неожиданно пришла в голову печальная мысль, что все члены клуба отправились хоронить метрдотеля. Когда я произнес фамилию Роя, рассыльный повел меня в пустой коридор, где я оставил шляпу и трость, а потом в пустой холл, стены которого были увешаны портретами государственных мужей эпохи Виктории в натуральную величину. Рой встал с кожаного дивана и радостно поздоровался со мной.

— Пойдемте прямо наверх? — сказал он.

Я оказался прав, полагая, что он не угостит меня коктейлем, и похвалил себя за предусмотрительность. Он повел меня по величественной парадной лестнице, покрытой тяжелым ковром; ни единой души не попалось нам навстречу. Мы вошли в столовую для гостей, где тоже оказались единственными посетителями. Это была комната солидных размеров, очень чистая и белая, с большим окном, украшенным роскошными лепными гирляндами. Мы уселись около него, и сдержанный официант подал нам карточку. Говядина, баранина, холодная лососина, пирог с ревенем, пирог с крыжовником... Пробегая этот неизбежный список, я вздохнул при мысли о ресторанах за углом, где была французская кухня, кипела жизнь и сидели хорошенькие, накрашенные женщины в летних платьях.

— Рекомендую паштет из телятины с ветчиной, — сказал Рой.

— Ладно.

— Салат я смешаю сам, — сказал он официанту небрежно, но властно, а потом, еще раз взглянув в карточку, великодушно добавил:

— А как насчет спаржи?

— Очень хорошо.

Он сделался еще величественнее.

— Спаржу на двоих, и скажите шефу, чтоб выбрал сам. Ну, а что бы вы хотели выпить? Что вы скажете о бутылке рейнвейна? Мы здесь большие любители рейнвейна.

Когда я согласился, он велел официанту позвать управляющего винным погребом. Я не мог не восхищаться тем властным, но безукоризненно вежливым тоном, каким он отдавал приказания. Чувствовалось, что именно так должен хорошо воспитанный король посылать за каким-нибудь своим фельдмаршалом. Дородный управляющий в черном костюме с серебряной цепью на шее — знаком своей должности — поспешил явиться с картой вин в руках. Рой кивнул ему со сдержанной фамильярностью.

— Здравствуйте, Армстронг. Мы хотим «Либфраумильх» двадцать первого года.

— Хорошо, сэр.

— Много его еще осталось? Знаете, ведь больше его не достать.

— Боюсь, что нет, сэр.

— Ну, нечего тревожиться раньше времени. Верно, Армстронг?

Рой добродушно улыбнулся управляющему. Опыт многолетнего общения с членами клуба подсказал тому, что это замечание требовало ответа.

— Да, сэр.

Рой засмеялся и взглянул на меня. Занятный человек этот Армстронг.

— Так вот, заморозьте его, Армстронг. Не слишком, а в самую меру. Покажите моему гостю, что мы здесь понимаем в этом толк.

Он повернулся ко мне.

— Армстронг служит у нас уже сорок восемь лет.

Когда управляющий ушел, Рой сказал:

— Надеюсь, вы не пожалеете, что пришли сюда. Здесь тихо, и мы сможем как следует поговорить. Давненько нам это не удавалось. А вы как будто в прекрасной форме.

Это привлекло мое внимание к внешности Роя.

— Но до вас мне далеко, — ответил я.

— Плоды честной, трезвой и праведной жизни, — засмеялся он. — Много работы. Много спорта. Как ваши успехи в гольфе? Надо будет нам как-нибудь сыграть партию.

Я знал, что Рой прекрасно играет в гольф и что меньше всего он стремится к тому, чтобы потерять целый день с посредственным игроком вроде меня. Но я почувствовал, что мне ничего не грозит, если даже я и приму столь неопределенное приглашение.

Рой выглядел воплощением здоровья. В его вьющихся волосах появилась сильная проседь, но она ему шла и делала еще моложе его открытое, загорелое лицо. Глаза его, глядевшие на мир с таким неподдельным чистосердечием, были ясны и чисты. Он уже утратил былую стройность, и я не удивился, что, когда официант принес булочки, Рой попросил для себя диетических хлебцев. Легкая полнота лишь усугубляла его достоинство: она придавала больший вес его словам. Из-за того, что его движения стали более неторопливыми, чем раньше, вас охватывало приятное чувство доверия к нему; он так плотно заполнял свое кресло, что трудно было отделаться от впечатления, будто он сидит на постаменте.

Не знаю, удалось ли мне, излагая здесь разговор Роя с официантом, показать, что его беседа обычно не отличалась ни остроумием, ни блеском, но он говорил непринужденно и так много смеялся, что иногда казалось, будто его слова и вправду остроумны. У него всегда находилось что сказать, и он мог обсуждать злободневные темы с такой легкостью, что его собеседники не чувствовали никакого напряжения мысли.

Писатели всю жизнь работают над словом, и многим из них свойственна дурная привычка слишком точно подбирать выражения в разговоре. Сами того не замечая, они правильно строят фразы, означающие именно то, что они хотят сказать, — ни больше и ни меньше. Этим они несколько отпугивают лиц из высших слоев общества, чей лексикон ограничен их нехитрыми духовными потребностями, и такие лица не без колебаний вступают с ними в беседу. С Роем никто никогда не чувствовал подобного стеснения. С танцором-гвардейцем он мог разговаривать, пользуясь совершенно понятными ему словами, с графиней — любительницей скачек — мог вести беседу на языке конюхов. О нем с восторгом и облегчением говорили, что он ничуть не похож на писателя. Не было комплимента, который доставлял бы ему большее удовольствие.

Благоразумные люди всегда употребляют множество ходячих фраз, общепринятых эпитетов, глаголов, смысл которых известен лишь тем, кто вращается в определенном кругу; эти дешевые блестки украшают светскую беседу и избавляют от необходимости думать. Американцы, самые изобретательные люди на земле, довели такой способ до столь высокого совершенства и выдумали столь широкий ассортимент многозначительных банальностей, что могут вести занимательный и оживленный разговор, ни на мгновение не задумываясь над тем, что говорят. Это освобождает их мозг для размышления о более важных вопросах — например, о большом бизнесе или о прелюбодеянии. У Роя тоже был обширный репертуар, а чутьем на модные словечки он обладал безошибочным; они в изобилии, но всегда к месту уснащали его речь, и он вставлял их каждый раз с радостной готовностью, как будто только сию минуту их породило его плодотворное воображение.

На этот раз он говорил о том о сем, о наших общих знакомых, о новых книгах, об опере. Он был очень весел. Он всегда отличался жизнерадостностью, но сегодня от его веселья просто захватывало дух. Он сетовал на то, что мы так редко видимся, и с той прямотой, которая была одной из его приятнейших черт, говорил мне, как он меня любит и какого высокого обо мне мнения. Я чувствовал, что должен ответить ему тем же дружелюбием. Он расспрашивал меня о книге, которую писал я, а я расспрашивал его о книге, которую писал он. Мы пожаловались друг другу, что ни один из нас не пользуется тем успехом, какого заслуживает. Мы съели паштет из телятины с ветчиной, и Рой рассказал мне, как он смешивает салат. Мы пили рейнвейн и одобрительно причмокивали губами.

А я все думал, когда же он доберется до сути дела. Я не мог заставить себя поверить, что в разгар лондонского сезона Элрой Кир способен потратить целый час на собрата по перу, который не ведет критического раздела и не пользуется никаким влиянием решительно нигде, — только для того, чтобы поговорить о Матиссе, русском балете и Марселе Прусте. Кроме того, за его весельем я смутно чувствовал, что он как будто чего-то ждет. Не знай я, что он процветает, я бы заподозрил его в намерении занять у меня сотню фунтов.

Дело шло к тому, что обед кончится, а ему так и не представится случай высказаться. Я знал, что он осторожен. Может быть, он решил, что лучше воспользоваться этой первой после столь долгой разлуки встречей лишь для восстановления дружеских отношений, и рассматривал нашу приятную, обильную трапезу лишь как приманку?

— Пойдемте пить кофе в соседнюю комнату? — предложил он.

— Пожалуйста.

— По-моему, там удобнее.

Я прошел за ним в другую комнату, гораздо более просторную, с огромными кожаными креслами и необозримыми диванами; на столах здесь лежали газеты и журналы. В углу вполголоса разговаривали два старых джентльмена. Они враждебно взглянули на нас, но это не помешало Рою дружески их приветствовать.

— Здравствуйте, генерал, — воскликнул он, весело кивнув головой.

Я постоял у окна, глядя на открывавшийся за ним радостный день, и пожалел, что плохо знаю исторические события, связанные с Сент-Джеймс-стрит. К моему стыду, я не знал даже названия клуба напротив, а спросить Роя боялся, чтобы он не начал презирать меня за незнание вещей, известных каждому приличному человеку. Он подозвал меня, спросил, буду ли я пить с кофе коньяк, и, когда я отказался, продолжал настаивать. Клуб славился своим коньяком. Мы сели рядом на диван у элегантного камина и закурили сигары.

— Здесь со мной обедал Эдуард Дриффилд, когда в последний раз перед смертью был в Лондоне, — небрежно сказал Рой. — Я заставил старика попробовать наш коньяк, и он был в восторге. В прошлое воскресенье я побывал в гостях у его вдовы.

— В самом деле?

— Она передавала вам всяческие приветы.

— Очень мило с ее стороны. Я не думал, что она меня помнит.

— Ну как же, конечно, помнит. Вы обедали там лет шесть назад, верно? Она говорит, что старик был так рад вас видеть.

— Она-то, по-моему, была не очень рада.

— О нет, вы ошибаетесь. Ну, конечно, ей приходилось соблюдать большую осторожность. Старика просто осаждали люди, которые хотели с ним увидеться, и она должна была беречь его силы. Она всегда боялась, что он переутомится. Уж если на то пошло, вообще удивительно, как это он у нее продержался, да еще в здравом уме и твердой памяти, до восьмидесяти четырех лет. После его смерти я довольно-таки часто ее видел. Она очень одинока. В конце концов, она двадцать пять лет только и делала, что ухаживала за ним. А это, знаете, нелегко. Мне ее вправду жаль.

— Она сравнительно молода. Пожалуй, еще выйдет замуж.

— О нет, она не сможет этого сделать. Это было бы ужасно.

Мы пригубили коньяк и помолчали.

— Вы, кажется, один из тех немногих, кто знал Дриффилда, пока он еще не пользовался известностью. Вы когда-то часто с ним виделись, верно?

— Более или менее. Я был почти мальчишкой, а он уже был в летах. Так что закадычными приятелями мы не были.

— Может быть, и нет, но вы, наверное, знаете о нем много такого, чего другие не знают.

— Пожалуй, да.

— А вам никогда не приходило в голову написать о нем воспоминания?

— Что вы, конечно нет!

— А не кажется ли вам, что вы должны это сделать? Это же был один из великих романистов нашего времени. Последний из викторианцев. Исполин. Если каким-нибудь книгам, написанным за последние сто лет, суждено бессмертие, то это его романы.

— Сомневаюсь. Мне они всегда казались довольно скучными.

Рой поглядел на меня смеющимися глазами.

— Как это похоже на вас! Во всяком случае, вы должны признать, что находитесь в меньшинстве. Я, не стыдясь, сознаюсь, что читал его книги не раз и не два, а раз по пять, и с каждым разом они кажутся мне лучше и лучше. Вы читали, что писали о нем после его смерти?

— Кое-что.

— Единодушие было просто потрясающим. Я прочел все.

— Но если везде говорилось одно и то же, стоило ли все читать?

Рой добродушно пожал плечами, но не ответил.

— По-моему, великолепно выступил «Таймс литерари сапплмент». Старик был бы рад, если бы прочел. Я слышал, что «Куортерли» готовит о нем статью в следующем номере.

— А я все равно считаю, что романы у него довольно скучные.

Рой снисходительно улыбнулся.

— Вас не смущает то, что ваше мнение расходится со всеми авторитетами?

— Ничуть. Я пишу уже тридцать пять лет, и вы не можете себе представить, сколько писателей на моих глазах были провозглашены гениями, час-другой наслаждались славой и погружались в забвение. Любопытно, что потом с ними случилось. Умерли они, или попали в сумасшедший дом, или где-нибудь служат? Может быть, они живут в захолустных деревушках и украдкой дают почитать свои книги местному доктору и старым девам из благородных семей? А может, их все еще считают великими людьми в каком-нибудь итальянском пансионе?

— Да, это неудачники. Я знавал таких.

— Вы даже читали о них лекции.

— Приходится. Почему не помочь людям, если можешь и если знаешь, что из них все равно ничего не получится? Черт возьми, можем же мы себе позволить быть великодушными! И потом, у Дриффилда нет с ними ничего общего. В полном собрании его сочинений тридцать семь томов, и последний экземпляр был продан на аукционе у Сотби за семьдесят восемь фунтов. Это говорит само за себя. Тиражи его книг росли из года в год и в прошлом году были больше, чем когда-либо раньше. Можете мне поверить, эти цифры показывала мне миссис Дриффилд, когда я был там в последний раз. Дриффилд останется навсегда.

— Кто знает?

— Ну, по-вашему, вы все знаете, — съязвил Рой в ответ, но я не смутился. Я знал, что мои слова раздражают его, и это доставляло мне удовольствие.

— По-моему, первые впечатления, оставшиеся у меня с детства, были правильными. Мне говорили, что Карлайл — великий писатель, и мне было очень стыдно, когда я убедился, что не могу прочесть «Французскую революцию» и «Сартор ресартус». А кто их читает теперь? Чужие мнения казались мне вернее моих собственных, и я заставлял себя считать великолепным писателем Джорджа Мередита. Но про себя я думал, что он пишет выспренне, неискренне и многословно. Сейчас многие так считают. Мне говорили, что культурный молодой человек должен восхищаться Уолтером Патером, и я им восхищался, но, боже мой, какая скучища его «Мариус»!

— Ну, конечно, Патера, по-моему, теперь в самом деле никто не читает, и от Мередита уже ничего не осталось, а что до Карлайла, то это попросту претенциозный болтун...

— Но вы не представляете, как уверены были все в их бессмертии тридцать лет назад.

— И вы никогда не делали ошибок?

— Одну или две. Я и наполовину так не ценил Ньюмена, как ценю сейчас, а звонкие четверостишия Фицджеральда нравились мне гораздо больше, чем теперь. Я не смог одолеть «Вильгельма Мейстера» Гете, а теперь считаю его шедевром.

— А что из того, что казалось вам хорошим тогда, все еще вам нравится?

— Ну, «Тристрам Шенди», и «Эмилия», и «Ярмарка тщеславия». «Мадам Бовари», «Пармская обитель» и «Анна Каренина». И Вордсворт, и Китс, и Верлен.

— Вы, конечно, извините, но я позволю себе заметить, что это не особенно оригинально.

— Пожалуйста. Я и не думаю, что это оригинально. Но вы спросили, почему я доверяю своему собственному суждению, и я попытался объяснить: что бы я ни утверждал из робости и из уважения к тогдашнему просвещенному мнению, на самом деле я не восхищался некоторыми авторами, которых тогда считали достойными восхищения. И время как будто показало, что я был прав. А то, что мне тогда откровенно и инстинктивно нравилось, выдержало испытание временем и для меня, и для критики вообще.

Рой помолчал. Он заглянул в свою чашку — не знаю, хотел ли он посмотреть, не осталось ли там еще кофе, или пытался найти что сказать. Я поднял глаза на часы над камином. Через минуту я смогу уйти, не нарушая приличий. Может быть, я все-таки ошибался и Рой пригласил меня лишь для того, чтобы поболтать о Шекспире и о музыкальных новинках? Я упрекнул себя за то, что так дурно о нем думал, и бросил на него сочувственный взгляд. Если такова была его единственная цель, это могло означать одно: он устал и разочарован. Такое бескорыстие могло свидетельствовать лишь о том, что, по крайней мере в данный момент, у него на душе скверно.

Но он заметил, что я посмотрел на часы, и заговорил:

— Не понимаю, как вы можете отрицать, что, если человек на протяжении шестидесяти лет пишет книгу за книгой и пользуется все растущей популярностью, — значит, в нем что-то есть? Ведь в Ферн-Корте целые шкафы забиты переводами книг Дриффилда на языки всех цивилизованных народов. Конечно, я согласен, многое из того, что он написал, в наше время кажется слегка старомодным. Он расцвел в неудачную эпоху, и у него осталась склонность к пустословию. Большая часть его сюжетов мелодраматична. Но вы должны согласиться, что одно достоинство у него есть — это чувство прекрасного.

— В самом деле? — сказал я.

— В конце концов, это самое главное, а у Дриффилда нет такой страницы, которая не была бы проникнута чувством прекрасного.

— Да? — сказал я.

— Жаль, что вас не было, когда мы поехали преподносить ему к восьмидесятилетнему юбилею его портрет. Это было действительно памятное событие.

— Я читал об этом в газетах.

— Знаете, там были не только писатели — это было очень представительное общество: наука, политика, деловой мир, искусство, высший свет. Не часто собирается такая коллекция знаменитостей, как та, что вышла тогда из поезда в Блэкстебле. Все были ужасно тронуты, когда премьер вручил старику орден «За заслуги». Он произнес прекрасную речь. Я не стыжусь сказать, что у многих в тот день навернулись слезы на глаза.

— А Дриффилд тоже плакал?

— Нет, он держался на удивление спокойно. Он был как всегда — такой, знаете, чуть застенчивый, скромный, с безупречными манерами. Он, конечно, был полон благодарности, но немного суховат. Миссис Дриффилд боялась, чтобы он не переутомился, и, когда мы сели обедать, он остался в кабинете, а она велела отнести ему кое-что на подносе. Пока все пили кофе, я улизнул к нему. Он курил трубку и глядел на портрет. Я спросил, понравился ли ему портрет. Он ничего не ответил, только чуть улыбнулся. Потом он спросил, как я считаю, можно ли ему вынуть зубные протезы, а я сказал, что нет и что вся депутация сейчас придет прощаться. Потом я спросил, не думает ли он, что это удивительные минуты. «Занятно, — сказал он. — Очень занятно». По-моему, он был просто потрясен. В последние годы он очень неопрятно ел, да и курил тоже — весь обсыпался табаком, когда набивал трубку. Миссис Дриффилд не любила, чтобы он в таком виде показывался людям, но я-то, конечно, был не в счет. Я почистил его, а потом все пришли пожать ему руку, и мы возвратились в город.

Я встал.

— Ну, мне в самом деле пора. Я очень рад, что с вами повидался.

— Я сейчас собираюсь на закрытый вернисаж в Лестерскую галерею. Я там кое-кого знаю. Если хотите, я вас проведу.

— Это очень любезно с вашей стороны, но они прислали мне приглашение. Нет, я, пожалуй, не пойду.

Мы спустились по лестнице, и я взял шляпу. Когда мы вышли на улицу и я повернул в сторону Пикадилли, Рой сказал:

— Я провожу вас до угла.

Он зашагал со мной в ногу.

— Вы ведь знали его первую жену?

— Чью?

— Дриффилда.

— А! — Я уже забыл о нем. — Да.

— Хорошо знали?

— Достаточно хорошо.

— Кажется, она была просто ужасна.

— Этого я что-то не припомню.

— Как будто страшно вульгарная женщина. Ведь она была буфетчицей, да?

— Верно.

— Не понимаю, как его угораздило на ней жениться. Я везде слышал, что она изменяла ему на каждом шагу.

— Да, на каждом шагу.

— Вы вообще-то помните, какая она была?

— Прекрасно помню. — Я улыбнулся. — Она была прелесть.

Рой усмехнулся.

— Большинство о ней другого мнения.

Я промолчал. Мы дошли до Пикадилли, и я, остановившись, протянул ему руку. Он пожал ее, но, как мне показалось, без своей обычной сердечности. У меня осталось впечатление, будто он разочарован нашей встречей. Я не мог понять почему. Он не добился от меня, чего хотел, по той простой причине, что не дал мне ни малейшего намека на то, что бы это могло быть. Не спеша шагая мимо аркады отеля «Риц» и вдоль ограды парка до угла Хаф-Мун-стрит, я размышлял, не было ли мое поведение более обычного отпугивающим. Ясно, что Рой счел случай неподходящим, чтобы просить меня о каком-то одолжении.

Я свернул на Хаф-Мун-стрит. После веселой суматохи Пикадилли здесь царила приятная тишина. Это была почтенная, респектабельная улица. В большинстве домов здесь сдавались квартиры, но об этом не извещали вульгарные объявления: на некоторых об этом гласили начищенные до блеска медные таблички, какие вывешивают врачи, на окнах других было аккуратно выведено: «Квартиры». На одном-двух особенно благопристойных домах просто была обозначена фамилия владельца: не зная, в чем дело, можно было подумать, что здесь помещается портной или ростовщик. В отличие от Джермин-стрит, где тоже сдают комнаты, здесь не было такого напряженного уличного движения; только кое-где у дверей стояли пустые шикарные машины да иногда такси высаживало какую-нибудь пожилую леди. Чувствовалось, что здесь живут не веселые обитатели Джермин-стрит с их чуть сомнительной репутацией — любители скачек, встающие по утрам с головной болью и требующие рюмочку, чтобы прийти в себя, — а респектабельные дамы, приехавшие из провинции на шесть недель в разгар лондонского сезона, и пожилые джентльмены, принадлежащие к клубам, куда не всякого пускают. Чувствовалось, что они из года в год приезжают в один и тот же дом и, может быть, знавали его владельца, еще когда он был в услужении. Моя хозяйка мисс Феллоуз когда-то служила кухаркой в нескольких очень хороших домах, но вы бы никогда об этом не догадались, увидев ее идущей за покупками на рынок. Она не была ни толстой, ни краснолицей, ни неряшливой, какими мы обычно представляем себе кухарок: это была женщина средних лет, худая, с решительным выражением лица; держалась она очень прямо, одевалась скромно, но по моде, красила губы и носила монокль. Она отличалась деловитостью, хладнокровием, спокойным цинизмом и брала очень дорого.

Я снимал у нее комнаты в первом этаже. Гостиная была оклеена старыми обоями под мрамор, а на стенах висели акварели, изображавшие всякие романтические сцены: кавалеров, расстающихся со своими дамами, и рыцарей былых времен, пирующих в роскошных залах. В комнате стояли высокие папоротники в горшках, а кресла были обиты выцветшей кожей. Комната чем-то странно напоминала о восьмидесятых годах, только за окном вместо собственных экипажей проезжали «крайслеры». Окна задергивались занавесями из тяжелого красного репса.

## 3

В этот день у меня было много дел, но разговор с Роем и то ощущение, которое, не знаю почему, сильнее обычного охватило меня, как только я вошел в свою комнату, — ощущение позавчерашнего дня, продолжающего жить в памяти еще не старых людей, — все это побуждало к тому, чтобы погрузиться в воспоминания. Как будто меня обступили все, кто когда-то жил в этой комнате, с их старомодными манерами, в странных одеждах: мужчины с подстриженными бачками и в сюртуках, женщины в юбках с турнюрами и в оборках. Отдаленный городской шум, который я не то слышал, не то воображал (дом стоял в самом конце Хаф-Мун-стрит), и прелесть солнечного июньского дня (le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui)[[3]](#footnote-3) придали моим грезам особую остроту, не лишенную приятности. Казалось, прошлое, в которое я вглядывался, потеряло свою реальность, и я как будто из заднего ряда темной галерки смотрел сцену из какой-то пьесы. Но возникавшие передо мной картины не смазывались, как в жизни, когда непрестанная толчея впечатлений лишает их отчетливости, а были четкими, резкими и определенными, как пейзаж, тщательно выписанный художником середины викторианской эпохи.

По-моему, жизнь сейчас стала интереснее, чем сорок лет назад, и мне кажется, что люди стали общительнее. Конечно, может быть, тогда они были достойнее и добродетельнее или, как говорят, мудрее. Не знаю; знаю только, что они были сварливее, слишком много ели, частенько слишком много пили и вели слишком малоподвижную жизнь. У них вечно была не в порядке печень, а нередко — и пищеварение. Они были раздражительны. Я говорю не о Лондоне, которого совершенно не знал, пока не стал взрослым, и не о знати, увлекавшейся охотой; я имею в виду провинцию и людей помельче — джентльменов с небольшим доходом, священников, отставных офицеров и тому подобных, тех, кто составлял местное общество. Их жизнь была невероятно скучной. В гольф тогда не играли; кое-где были скверные теннисные корты, но играла в теннис лишь молодежь; раз в год в собрании устраивали танцы; в послеобеденное время те, у кого были экипажи, ездили кататься, а остальные «делали моцион»!

Конечно, они не сознавали, что лишены развлечений, о существовании которых и не подозревали, и увеселяли себя тем, что время от времени устраивали маленькие приемы (чай, на который приходили со своими музыкальными инструментами и исполняли песни Мод Валери Уайт и Тости); но дни тянулись долго, и люди скучали. Соседи, обреченные прожить до конца своих дней в миле друг от друга, ссорились не на жизнь, а на смерть и, ежедневно встречаясь в городе, не здоровались на протяжении двадцати лет. Они были тщеславны, упрямы и своенравны. Такая жизнь нередко порождала необычные типы: люди не были так похожи друг на друга, как сейчас, и создавали себе некоторую известность своими причудами, но поладить с ними было нелегко. Может быть, мы в самом деле легкомысленны и беззаботны, но мы не питаем друг к другу такой подозрительности. Мы грубоваты, но добродушны, более уживчивы и не так чванливы.

Я жил у дяди и тети на окраине маленького приморского городка в Кенте. Город назывался Блэкстебл, и дядя был в нем приходским священником. Тетя происходила из очень знатной, но обедневшей немецкой семьи и принесла с собой в приданое только письменный стол-маркетри, изготовленный по заказу одного из ее предков в семнадцатом веке, и набор бокалов. К тому времени, как я появился на сцене, из них осталось лишь несколько штук, служивших украшением гостиной. Мне очень нравился выгравированный на них большой герб. Там было не знаю сколько полей, значение которых тетя объясняла мне с полной серьезностью, прекрасные геральдические звери и невероятно романтичный шлем, возвышавшийся над короной. Тетя была простодушная, кроткая и благожелательная старая леди, но, хоть она и прожила тридцать лет замужем за скромным священником с очень небольшим доходом сверх жалованья, она не забыла своего высокородного происхождения. Когда соседний дом снял на лето богатый лондонский банкир, сейчас хорошо известный в финансовых кругах, и мой дядя нанес ему визит (я полагаю, главным образом ради того, чтобы добиться от него пожертвования в фонд поощрения священнослужителей), она отказалась поехать к нему — ведь он был не дворянин. И никто не упрекнул ее в снобизме: все сочли это вполне естественным. У банкира был сын примерно моего возраста, и, уж не помню как, я с ним познакомился. Я до сих пор не забыл, какой последовал спор, когда я попросил разрешения пригласить его к нам. Разрешение было нехотя дано, но побывать в гостях у него мне не позволили. Тетя сказала, что так я, чего доброго, попрошусь в гости и к угольщику, а дядя добавил:

— Дурные знакомства портят хорошие манеры.

Каждое воскресенье банкир приходил в церковь на утреннюю службу и каждый раз оставлял на блюде для пожертвований полсоверена. Но если он думал, что его щедрость производит благоприятное впечатление, он сильно ошибался. Об этом знал весь Блэкстебл, но все считали, что он лишь кичится своим богатством.

Блэкстебл состоял из одной извилистой улицы, выходившей к морю, с маленькими двухэтажными домами. Часть их составляли особняки, но немало было и лавок. От этой улицы отходили короткие улочки, заканчивавшиеся с одной стороны в поле, а с другой — в болотах. Гавань была окружена лабиринтом узких кривых переулков. Уголь в Блэкстебл доставляли пароходами из Ньюкасла, и в гавани кипела жизнь. Когда я подрос настолько, что мне разрешили гулять одному, я часами бродил здесь, разглядывал грубоватых перемазанных моряков в шерстяных фуфайках и смотрел, как разгружают уголь.

В Блэкстебле я и встретился впервые с Эдуардом Дриффилдом. Мне тогда было пятнадцать лет, и я только что приехал на каникулы. В первое же утро я взял полотенце и купальные трусы и отправился на пляж. Небо было чистое, воздух горячий и прозрачный, а Северное море придавало ему особенный привкус, так что просто жить и дышать было наслаждением. Зимой жители Блэкстебла торопливо шагали по пустым улицам, съежившись и стараясь подставить жгучему восточному ветру как можно меньшую поверхность тела. Но теперь они никуда не спешили и стояли кучками между «Герцогом Кентским» и расположенным чуть дальше по улице «Медведем и ключом». Слышался их протяжный восточно-английский говор; может быть, он и некрасив, но я до сих пор по старой памяти нахожу в нем какое-то ленивое очарование. У них были розовые лица с голубыми глазами и высокими скулами и светлые волосы. Они производили впечатление чистых, честных и искренних людей. Не думаю, чтобы они отличались особенным умом, но были бесхитростны и простодушны. Выглядели они здоровыми и, несмотря на невысокий рост, были по большей части сильны и подвижны. В то время уличного движения в Блэкстебле почти не существовало, и кучкам людей, болтавших между собой там и сям на дороге, почти не приходилось уступать место экипажам — разве что проезжала двуколка доктора или фургон булочника.

Мимоходом я зашел в банк, чтобы поздороваться с управляющим, который состоял у моего дяди церковным старостой, и, выходя оттуда, встретил дядиного помощника. Он остановился, чтобы пожать мне руку. Его сопровождал какой-то незнакомец, которому он меня не представил. Это был невысокий бородатый человек, одетый довольно безвкусно: светло-коричневый костюм с бриджами, туго обтягивающими ноги ниже колен, темно-синие чулки, черные башмаки и шляпа с низкой тульей и широкими полями. Тогда бриджей почти не носили, и я по молодости лет тут же решил, что это человек дурного тона. Но пока я болтал с дядиным помощником, он дружелюбно смотрел на меня с улыбкой в светло-голубых глазах. Я чувствовал, что ему ничего не стоит присоединиться к нашему разговору, и принял надменный вид. Я не желал, чтобы со мной заговорил этот мужлан, одетый в бриджи, как лесничий, а фамильярно-добродушное выражение его лица меня возмущало. Сам я был одет безукоризненно: белые фланелевые брюки, голубая фланелевая куртка с гербом школы на нагрудном кармане и черно-белая шляпа с очень широкими полями.

Вскоре дядин помощник сказал, что ему пора идти (я был счастлив, потому что никогда не отличался умением закончить уличный разговор и вечно сгорал от застенчивости, тщетно поджидая удобного случая), но добавил, что после обеда зайдет к нам, и попросил передать это дяде. Незнакомец кивнул и улыбнулся мне на прощанье, но я смерил его ледяным взглядом. Я решил, что он дачник, а с дачниками мы в Блэкстебле дела не имели, считая лондонцев вульгарными. Мы говорили: ужасно, что каждый год сюда приезжает вся эта городская шваль, но, конечно, это необходимо для блага торгового сословия. Впрочем, даже оно вздыхало с некоторым облегчением, когда сентябрь подходил к концу и Блэкстебл вновь погружался в свой обычный мир и покой.

Придя домой к обеду с еще мокрыми, прилипшими к голове волосами, я сказал, что встретил дядиного помощника и что он после обеда придет.

— Сегодня ночью умерла старая миссис Шеперл, — объяснил дядя.

Дядиного помощника звали Гэллоуэй; это был высокий, тощий, нескладный человек с растрепанными черными волосами и маленьким, болезненным смуглым лицом. Вероятно, он был еще совсем молод, но мне казался пожилым. Говорил он очень быстро и сильно жестикулировал. Из-за этого люди считали его немного странным, и мой дядя не взял бы его к себе в помощники, если бы не его огромная энергия: дядя был крайне ленив и очень обрадовался, что нашелся человек, готовый принять на себя столько работы.

Покончив с делами, мистер Гэллоуэй зашел попрощаться с тетей, и она пригласила его остаться пить чай.

— С кем это вы были сегодня утром? — спросил я его, как только он сел.

— О, это Эдуард Дриффилд. Я вас не познакомил, потому что не знал, будет ли ваш дядя доволен таким знакомством.

— Я думаю, это было бы крайне нежелательно, — сказал дядя.

— А почему? Кто он такой? Он не из Блэкстебла?

— Он родился в нашем приходе, — сказал дядя. — Его отец был управляющим у старой мисс Вульф в Ферн-Корте. Но они не принадлежали к нашей церкви.

— Он женился на девушке из Блэкстебла, — сказал мистер Гэллоуэй.

— И венчались, кажется, по нашему обряду, — сказала тетя. — Правда, что она была буфетчицей в «Железнодорожном гербе»?

— Судя по ее виду, вполне могла быть, — ответил мистер Гэллоуэй с улыбкой.

— Надолго они сюда?

— Да, как будто. Они сняли дом в том переулке, где церковь конгрегационалистов.

Хотя новые улицы Блэкстебла, несомненно, имели названия, никто в городе тогда их не знал и не употреблял.

— А он в церковь ходит? — спросил дядя.

— Еще не спрашивал, — ответил мистер Гэллоуэй. — Знаете, он вполне образованный человек.

— Трудно поверить.

— Насколько я знаю, он кончил хэвершемскую школу и получил массу всяких стипендий и призов. Его послали учиться в Уодхэм, но он сбежал и поступил в матросы.

— Я слышал, что он человек довольно легкомысленный, — сказал дядя.

— Но он не похож на моряка, — заметил я.

— О, он это занятие бросил много лет назад. С тех пор кем он только не перебывал.

— Всего понемногу, и ничего толком, — сказал дядя.

— А теперь, насколько мне известно, он писатель.

— Ну, это ненадолго.

Я никогда еще не видел писателя и заинтересовался.

— А что он пишет? — спросил я. — Книги?

— Кажется, — ответил дядин помощник, — и еще статьи. В прошлом году весной он напечатал повесть. Он обещал дать ее почитать.

— На вашем месте я не стал бы тратить время на всякую чушь, — сказал дядя, который никогда ничего не читал, кроме «Таймс» и «Гардиан».

— А как она называется? — спросил я.

— Он говорил мне название, но я забыл.

— Во всяком случае, тебе совершенно необязательно это знать, — сказал дядя мне. — Я категорически возражаю против того, чтобы ты читал эту дрянь. Самое лучшее для тебя — провести каникулы на воздухе. К тому же у тебя, кажется, есть задание на лето?

Задание действительно было — «Айвенго». Я читал его, когда мне было десять лет, и теперь перспектива перечитывать его и писать о нем сочинение приводила меня в отчаяние.

Думая о том величии, которого достиг впоследствии Эдуард Дриффилд, я не могу не улыбаться при воспоминании о том, как его персону обсуждали за столом моего дяди. Недавно, после смерти Дриффилда, когда его почитатели начали кампанию за то, чтобы он был погребен в Вестминстерском аббатстве, нынешний блэкстеблский священник, третий по счету после моего дяди, написал письмо в редакцию «Дейли мейл», в котором указал, что Дриффилд родился в этом приходе и не только провел здесь многие годы, особенно на протяжении последних двадцати пяти лет, но и сделал город местом действия нескольких самых знаменитых своих книг; поэтому было бы естественно, чтобы его прах покоился на том кладбище, где под сенью кентских вязов почиют в мире его отец и мать. Блэкстебл был в восторге, когда вестминстерский настоятель довольно резко отказал в разрешении захоронить Дриффилда в аббатстве и миссис Дриффилд напечатала в газетах полное достоинства открытое письмо, где выражала уверенность, что исполняет заветное желание покойного мужа, хороня его среди простых людей, которых он так хорошо знал и любил. Если только почтенные горожане Блэкстебла не изменились в корне с тех пор, как я их знал, им должны были не очень понравиться эти слова насчет «простых людей», но, как я узнал впоследствии, они так или иначе всегда терпеть не могли вторую миссис Дриффилд.

## 4

Два или три дня спустя после обеда с Элроем Киром я, к своему удивлению, получил письмо от вдовы Эдуарда Дриффилда. Оно гласило:

*«Дорогой друг,*

*я слышала, что Вы на прошлой неделе имели долгий разговор с Роем об Эдуарде Дриффилде, и была очень рада, узнав, что Вы так хорошо о нем отзывались. Он часто говорил мне о Вас. Он восхищался Вашим талантом и был так рад, когда Вы приехали к нам обедать. Я подумала — нет ли у Вас каких-нибудь писем от него; если есть, не предоставите ли Вы мне их копии? Я была бы очень рада, если бы смогла уговорить Вас приехать сюда ко мне на два-три дня. Я теперь живу очень уединенно, здесь никто не бывает, так что приезжайте, когда Вам будет угодно. Я с удовольствием снова повидаюсь с Вами, и мы поболтаем о прежних временах. Я хочу попросить Вас об одном одолжении и уверена, что ради моего дорогого покойного мужа Вы мне не откажете.»*

Всегда искренне Ваша, Эми Дриффилд.

Я встречался с миссис Дриффилд лишь однажды, и она не вызывала у меня особого интереса. Я не люблю, когда ко мне обращаются «дорогой друг», — одного этого было бы достаточно, чтобы я не принял ее приглашения. Кроме того, меня вообще возмутил самый тон письма: оно было написано так, что какой бы повод для отказа я ни изобрел, все равно было бы совершенно очевидно, что я просто не пожелал приехать. Писем от Дриффилда у меня не было. Кажется, много лет назад я несколько раз получал от него коротенькие записки, но тогда он был еще никому не известен, и, даже если бы я имел привычку хранить письма, мне никогда не пришло бы в голову сохранить эти. Откуда я мог знать, что его провозгласят величайшим романистом нашего времени? Я заколебался только потому, что, по словам миссис Дриффилд, она хотела о чем-то меня попросить. Это наверняка будет что-нибудь нудное, но отказать было бы невежливо и, в конце концов, ее муж был человек весьма достойный.

Письмо пришло рано утром, и после завтрака я позвонил Рою. Как только его секретарь услышал мое имя, он соединил нас. Если бы я писал детективный рассказ, я немедленно заподозрил бы, что моего звонка ждали, и мои подозрения подтвердил бы бодрый и мужественный голос Роя. Это неестественно, чтобы человек в столь ранний час проявлял такую жизнерадостность.

— Надеюсь, я не разбудил вас? — сказал я.

— Конечно же нет! — Он залился здоровым смехом. — Я на ногах с семи часов. Катался верхом в парке, а теперь как раз собираюсь завтракать. Приезжайте — позавтракаем вместе.

— Я очень люблю вас, Рой, — ответил я, — но вы — не тот человек, завтрак с которым мне доставил бы удовольствие. Кроме того, я уже завтракал. Послушайте, я только что получил письмо от миссис Дриффилд с просьбой приехать к ней в гости.

— Да, она говорила мне, что собирается вас пригласить. Мы можем поехать вместе. У нее вполне приличный корт, и принимает она очень хорошо. Думаю, вам понравится.

— А чего ей от меня нужно?

— Ну, вероятно, она хотела бы сказать вам это сама.

Голос Роя сделался настолько сладким, что мне пришло в голову: именно так он объявил бы будущему отцу семейства о том, что его жена намерена вскорости исполнить его заветное желание. Но на меня это не подействовало.

— Бросьте, Рой, — сказал я. — Старого воробья на мякине не проведешь. Выкладывайте.

Наступила секундная пауза. Я почувствовал, что Рою мой тон не понравился.

— Вы заняты сегодня утром? — спросил он вдруг. — Я хотел бы к вам заехать.

— Хорошо, приезжайте. Я буду дома до двух.

— Я приеду через час.

Я повесил трубку, закурил и еще раз просмотрел письмо от миссис Дриффилд.

Тот обед, о котором она писала, я прекрасно помнил. Как-то я несколько дней отдыхал недалеко от Теркенбери у некой леди Ходмарш — неглупой и хорошенькой американки, жены одного баронета, совершенно лишенного интеллекта, но обладавшего очаровательными манерами. Вероятно, чтобы скрасить монотонность семейной жизни, она часто принимала у себя людей, имевших отношение к искусству, собирая разнообразную и оживленную компанию. Представители знати и дворянства с изумлением и некоторой робостью встречались у нее с художниками, писателями и актерами. Леди Ходмарш не читала книг и не видела картин, написанных людьми, которым оказывала гостеприимство, но ей нравилось их общество, и она любила чувствовать свою причастность к миру искусства. Однажды разговор у нее коснулся Эдуарда Дриффилда — самого знаменитого из ее соседей. Я заметил, что когда-то очень хорошо его знал, и она предложила в понедельник, когда большинство гостей возвратится в Лондон, съездить к нему пообедать. Я заколебался: Дриффилда я не видел уже тридцать пять лет и не мог предположить, чтобы он меня вспомнил, а если и вспомнил бы (впрочем, об этом я умолчал), то, по всей вероятности, без особой радости. Но при этом случился один молодой пэр — некий лорд Скэллион, который проявлял такой бурный интерес к литературе, что, вместо того чтобы править Англией в соответствии со всеми законами божескими и человеческими, тратил всю свою энергию на сочинение детективных романов. Он выразил сильнейшее желание повидать Дриффилда и, как только леди Ходмарш высказала свое предложение, заявил, что это было бы восхитительно. Самой главной гостьей была одна толстая молодая герцогиня, чье преклонение перед знаменитым писателем оказалось настолько сильным, что она была готова отменить назначенные в Лондоне дела и остаться здесь до самого вечера.

— Вот нас уже четверо, — сказала леди Ходмарш. — Думаю, больше они принять и не смогут. Я сейчас же отправлю телеграмму миссис Дриффилд:

Мне ничуть не улыбалось явиться к Дриффилду в этой компании, и я попытался охладить их пыл.

— Мы надоедим ему до смерти, — сказал я. — Он терпеть не может, когда на него сваливается такая толпа незнакомых людей. Он же очень стар.

— Именно поэтому, если они хотят повидать его, пусть сделают это сейчас. Долго он не протянет. А миссис Дриффилд говорит, что он любит общество. У них бывают только доктор и священник, и наш визит будет для него все-таки развлечением. Миссис Дриффилд говорила, что я всегда могу привозить каких-нибудь интересных людей. Конечно, ей приходится быть очень осторожной: к нему навязываются всякие люди, которые мечтают на него поглазеть, и интервьюеры, и авторы, которые хотят, чтобы он прочел их книги, и глупые восторженные женщины. Но миссис Дриффилд просто удивительна. Она к нему никого не пускает, кроме тех, кого, как она считает, ему нужно повидать. То есть он бы не выдержал и недели, если бы принимал каждого, кто хочет с ним встретиться. Ей приходится беречь его силы. Но к нам, конечно, все это не относится.

Ко мне-то, подумал я, это и в самом деле не относится; но, поглядев на герцогиню и на лорда Скэллиона, я заметил, что про себя они тоже так думают, и решил промолчать.

Мы поехали в светло-желтом «роллс-ройсе». Ферн-Корт находился примерно в трех милях от Блэкстебла. Это был оштукатуренный дом, построенный, вероятно, около 1840 года, некрасивый и без всяких претензий, но основательный. И спереди и сзади по обе стороны двери выступали вперед по два широких эркера, и еще два таких же эркера были на втором этаже. Низкую крышу скрывал простой парапет. Дом был окружен садом, занимавшим около акра, где деревья стояли, пожалуй, слишком часто, но выглядели хорошо ухоженными, а из окна гостиной открывался красивый вид на леса и зеленую низину. Гостиная была обставлена в точности так, как полагается обставлять гостиную в скромном загородном доме, и от этого почему-то становилось немного не по себе. На удобных креслах и большом диване были чистые чехлы из яркого ситца, и занавески из того же ситца висели на окнах. На маленьких чиппендейловских столиках стояли большие восточные вазы с душистыми сухими лепестками. На кремовых стенах висели красивые акварели работы художников, пользовавшихся популярностью в начале столетия. Повсюду были изящно расположенные цветы, а на рояле стояли в серебряных рамках фотографии знаменитых актрис, покойных писателей и младших представителей царствующего дома.

Герцогиня, разумеется, воскликнула, что это чудная комната. Как раз такая комната, в какой знаменитый писатель должен проводить остаток своих дней.

Миссис Дриффилд приняла нас скромно, но уверенно. Это была женщина, по-моему, лет сорока пяти, с резкими чертами маленького смуглого лица, в черной шляпке, плотно облегавшей голову, и сером костюме. Стройная, среднего роста, она выглядела оживленной, деловой и больше всего напоминала овдовевшую дочь помещика, наделенную незаурядными организаторскими способностями и заправляющую делами прихода.

Миссис Дриффилд познакомила нас с каким-то священником и дамой, которые встали, когда мы вошли. Это оказался приходский священник Блэкстебла с женой. Леди Ходмарш и герцогиня тут же принялись рассыпаться в любезностях, как делают все высокопоставленные особы в разговоре с низшими, чтобы показать, будто они не чувствуют никакой разницы в положении.

Тут вошел Эдуард Дриффилд. Время от времени в иллюстрированных журналах мне попадались на глаза его портреты, но, увидев его воочию, я испугался. Дриффилд оказался меньше ростом, чем я его помнил, и очень худ. Редкие серебристые волосы едва покрывали его голову, а чисто выбритое лицо выглядело как будто прозрачным. У него были выцветшие голубые глаза с красными веками. Казалось, душа еле держится в этом старом-старом человеке. Он носил очень белые зубные протезы, и из-за этого его улыбка производила впечатление натянутой и искусственной. Я в первый раз увидел его без бороды, и оказалось, что у него тонкие, бледные губы. На нем был новый, хорошо сшитый голубой шерстяной костюм, а из-за воротничка, на два-три номера больше, чем нужно, виднелась морщинистая, тощая шея. Аккуратный черный галстук был заколот жемчужной булавкой. Дриффилд напоминал переодетого в обычное платье настоятеля собора, отправившегося отдыхать в Швейцарию.

Миссис Дриффилд быстро окинула его взглядом и ободряюще улыбнулась: вероятно, его безукоризненная внешность ее удовлетворила. Он поздоровался с гостями, сказав каждому несколько вежливых слов. Когда очередь дошла до меня, он заметил:

— Как это мило со стороны такого занятого и пользующегося успехом человека — приехать в эту даль, чтобы повидаться со старым чудаком.

Я был немного огорошен: он говорил так, как будто никогда меня не видел, и я испугался, не подумают ли мои спутники, что я хвастал, говоря о нашем с ним прежнем близком знакомстве. Неужели он совершенно меня забыл?

— Сколько же лет прошло с тех пор, когда мы в последний раз виделись? — сказал я, стараясь говорить бодро.

Он пристально поглядел на меня — вероятно, это продолжалось всего несколько секунд, но мне они показались очень долгими, — и тут я вздрогнул от неожиданности: он мне подмигнул. Это произошло так быстро, что никто, кроме меня, не успел ничего заметить, и так не соответствовало достойному облику старого человека, что я не поверил своим глазам. Уже в следующий момент его лицо снова стало неподвижным, умным, благосклонным и спокойно-выжидательным. В этот момент объявили, что обед подан, и мы гурьбой пошли в столовую.

Столовая тоже представляла собой вершину изящного вкуса. Чиппендейловский буфет украшали серебряные подсвечники. Мы сидели на чиппендейловских стульях за чиппендейловским столом. Посередине в серебряной вазе стояли розы, а вокруг — серебряные блюда с шоколадом и мятными конфетами. Серебряные солонки были начищены до блеска и явно относились к эпохе Георгов. На кремовых стенах висели меццотинто работы сэра Питера Лели с изображением дам, а на камине стояли фигурки из дельфтского фаянса. Прислуживали нам две девушки в коричневой форме, за которыми миссис Дриффилд, не переставая оживленно болтать, внимательно приглядывала. Мне было непонятно, как это она ухитрилась так вышколить этих цветущих кентских девиц (их местное происхождение выдавали здоровый цвет лица и высокие скулы). Обед был как раз такой, какой нужно, приличный, но не парадный: рулет из рыбного филе под белым соусом, жареный цыпленок с молодым картофелем и горошком, спаржа, пюре из крыжовника со взбитыми сливками. И столовая, и обед, и обхождение — все в точности соответствовало положению литератора с большой славой, но умеренными средствами.

Как большинство жен литераторов, миссис Дриффилд любила поговорить и не давала беседе на своем конце стола утихнуть; поэтому как бы нам ни хотелось услышать, что говорит на другом конце ее муж, это оказалось невозможно. Она была весела и полна энергии. Хотя слабое здоровье и почтенный возраст Эдуарда Дриффилда вынуждал ее большую часть года жить за городом, она тем не менее ухитрялась достаточно часто наведываться в Лондон, чтобы быть в курсе всех событий, и вскоре она уже оживленно обсуждала с лордом Скэллионом пьесы, идущие в лондонских театрах, и эти ужасные толпы в Королевской академии. Ей пришлось ходить туда два раза, чтобы посмотреть все картины, и все-таки на акварели времени не хватило. Ей так нравятся акварели — они бесхитростны, а она так ненавидит претенциозность.

Чтобы хозяин и хозяйка могли сидеть напротив друг друга, священник сел рядом с лордом Скэллионом, а его жена — рядом с герцогиней. Герцогиня развлекала ее беседой о жилищах рабочего класса, о которых она явно была гораздо лучше осведомлена, чем жена священника, так что я мог беспрепятственно наблюдать за Эдуардом Дриффилдом. Он разговаривал с леди Ходмарш. По всей видимости, она рассказывала ему, как нужно писать романы, и рекомендовала ему книги, которые он обязательно должен прочесть. Он слушал ее, казалось, с вежливым интересом, время от времени вставляя какое-нибудь замечание — слишком тихо, чтобы я мог расслышать, а когда она отпускала шутку (она это делала часто, и нередко не без успеха), он усмехался и поглядывал на нее с таким видом, как будто хотел сказать: «А эта женщина вовсе не такая уж дура!» Мне вспомнилось прошлое, и я спросил себя — любопытно, что он думает об этом великолепном обществе, о своей прекрасно одетой супруге, такой деловой и уверенной в себе, и об изящной обстановке, в которой живет? Я размышлял о том, не вспоминает ли он с сожалением свою полную приключений молодость, нравится ли ему все это или под его дружелюбной вежливостью скрывается страшная скука? Вероятно, почувствовав, что я на него смотрю, он поднял на меня глаза. Его задумчивый взгляд, мягкий и в то же время испытывающий, остановился на мне, а потом — на этот раз ошибки быть не могло — он вдруг снова мне подмигнул. В сочетании со старым, морщинистым лицом это было не просто неожиданно — это ошарашивало: я не знал, что делать, и на всякий случай улыбнулся.

Но тут герцогиня вмешалась в разговор на другом конце стола, и жена священника повернулась ко мне.

— Вы знали его много лет назад, ведь верно? — спросила она тихо.

— Да.

Она оглянулась, не слушает ли нас кто-нибудь.

— Знаете, его жена боится, как бы вы не пробудили в нем старых воспоминаний, которые могли бы причинить ему вред. Он ведь очень слаб и может взволноваться от любой мелочи.

— Я буду очень осторожен.

— Просто удивительно, как она о нем заботится. Такая преданность — всем нам пример. Она понимает, какое бесценное сокровище находится на ее попечении. Ее самоотверженность невозможно описать.

Она еще понизила голос.

— Конечно, он очень стар, а со стариками иногда бывает нелегко, но я ни разу не видела, чтобы она потеряла терпение. Она по-своему не меньше достойна восхищения, чем он.

На такие замечания трудно что-то ответить, но я чувствовал, что ответа от меня ждут.

— Я думаю, при данных обстоятельствах он выглядит прекрасно, — пробормотал я.

— И всем этим он обязан ей.

После обеда мы перешли в гостиную и продолжали разговор стоя. Через две-три минуты ко мне подошел Эдуард Дриффилд. Я в это время беседовал со священником и, не в состоянии придумать ничего лучшего, восхищался прелестным видом из окна. Обратившись к хозяину, я сказал:

— Я как раз говорил, как живописен этот ряд коттеджей там, внизу.

— Отсюда — да. — Дриффилд бросил взгляд на их неровный силуэт, и его тонкие губы изогнулись в иронической усмешке. — В одном из них я родился. Занятно, а?

Но тут к нам подошла миссис Дриффилд — воплощение веселья и общительности. Ее голос был оживлен и мелодичен:

— О Эдуард, герцогине очень хотелось бы посмотреть твой кабинет. Она вот-вот должна уезжать.

— Мне очень жаль, но я должна попасть на поезд в три пятнадцать из Теркенбери, — сказала герцогиня.

Мы один за другим потянулись в кабинет Дриффилда. Это была большая комната в другом конце дома, выходящая на ту же сторону, что и столовая, с большим выступающим наружу окном. Комната была обставлена в точности так, как преданная жена должна обставлять кабинет своего мужа-писателя. Все здесь было аккуратнейшим образом прибрано, и большие вазы с цветами напоминали о женской руке.

— Вот стол, за которым он написал все свои последние произведения, — сказала миссис Дриффилд, закрывая лежавшую на нем переплетом вверх книгу. — Он изображен на фронтисписе третьего тома роскошного издания его сочинений. Это музейная вещь.

Мы восхищались столом, а леди Ходмарш, улучив минуту, когда никто на нее не смотрел, потрогала снизу его крышку, чтобы удостовериться, настоящий ли он. Миссис Дриффилд быстро и весело улыбнулась нам.

— Хотите посмотреть одну из его рукописей?

— С огромным удовольствием, — ответила герцогиня, — а потом я просто должна лететь.

Миссис Дриффилд достала с полки рукопись, переплетенную в голубой сафьян, и, пока все остальные гости благоговейно разглядывали ее, я занялся книгами, которыми были заставлены все стены комнаты. Сначала, как каждый автор, я окинул их взглядом, чтобы посмотреть, нет ли среди них моих, но ни одной не нашел; зато здесь были все книги Элроя Кира и множество романов в ярких обложках, которые выглядели подозрительно нетронутыми. Я сообразил, что это книги, которые авторы присылают Дриффилду в знак уважения к его таланту и, может быть, в надежде получить в ответ несколько похвальных слов, которые можно было бы использовать для рекламы. Но все книги были такие новенькие и так аккуратно расставлены, что, по-моему, их читали очень редко. Стоял тут и оксфордский словарь, и полные собрания большинства английских классиков в пышных переплетах — Филдинг, Босуэлл, Хэзлитт и так далее, и еще много книг о море: я узнал разноцветные тома лоций, изданных адмиралтейством. Было еще довольно много книг по садоводству. Комната напоминала скорее не мастерскую писателя, а мемориальный кабинет великого человека; я легко представил себе одинокого туриста, случайно забредшего сюда от нечего делать, и ощутил затхловатый, спертый запах музея, который почти никто не посещает. У меня возникло подозрение, что если сейчас Дриффилд и читает что-нибудь, то это «Альманах садовода» и «Мореходная газета», пачку номеров которой я заметил на столе в углу.

Когда дамы посмотрели все, что хотели увидеть, мы попрощались с хозяевами. Но леди Ходмарш отличалась большим тактом, и ей, вероятно, пришло в голову, что хоть я и был главным поводом для визита, но почти не имел возможности поговорить с Дриффилдом. Во всяком случае, уже в дверях она сказала ему, одарив меня дружеской улыбкой:

— Мне было так интересно узнать, что вы с мистером Эшенденом знали друг друга много лет назад. Он был хорошим мальчиком?

Дриффилд бросил на меня свой спокойный иронический взгляд. Мне почудилось, что, если бы тут никого не было, он показал бы мне язык.

— Робок он был, — ответил он. — Я учил его ездить на велосипеде.

Мы снова сели в огромный желтый «роллс-ройс» и уехали.

— Он прелесть, — сказала герцогиня. — Я очень рада, что мы к нему съездили.

— У него такие приятные манеры, не правда ли? — сказала леди Ходмарш.

— Не думали же вы, что он ест горошек с ножа? — спросил я.

— Очень жаль, что нет, — сказал Скэллион. — Это было бы так живописно.

— По-моему, это очень трудно, — заметила герцогиня. — Я много раз пробовала, но горошины все время падают.

— А их нужно натыкать на нож, — сказал Скэллион.

— Вовсе нет, — возразила герцогиня. — Их нужно удерживать на плоской стороне, а они катаются как черти.

— А как вам понравилась миссис Дриффилд? — спросила леди Ходмарш.

— По-моему, она на высоте, — ответила герцогиня.

— Он так стар, бедняжка, кто-то должен за ним присматривать. Вы знаете, что она была больничной сиделкой?

— Разве? — удивилась герцогиня. — Мне казалось, она была его секретаршей, или машинисткой, или чем-то в этом роде.

— Она очень мила, — вступилась леди Ходмарш за свою приятельницу.

— О да, вполне.

— Лет двадцать назад он долго болел, и она была у него сиделкой, а потом он поправился и женился на ней.

— Странно, что мужчины делают такие вещи. Она же на много лет моложе его. Ей ведь не больше — ну, сорока, сорока пяти.

— Нет, не думаю. Лет сорок семь. Мне говорили, что она очень много для него сделала. То есть сделала из него вполне приличного человека. Элрой Кир говорил мне, что до того он вел слишком богемную жизнь.

Как правило, писательские жены просто ужасны.

— Такая тоска иметь с ними дело, верно?

— Невероятная. Удивительно, как они сами этого не понимают.

— Бедняжки, они часто уверены, что люди считают их интересными, — тихо сказал я.

Мы добрались до Теркенбери, высадили герцогиню на станции и поехали дальше.

## 5

Эдуард Дриффилд и в самом деле учил меня кататься на велосипеде. С этого и началось наше знакомство. Не знаю, задолго ли до того времени велосипед был изобретен; знаю лишь, что в захолустном уголке Кента, где я тогда жил, он был в диковинку, и, завидев человека, несущегося на литых шинах, каждый оборачивался и провожал его глазами, пока тот не скрывался из виду. Велосипед все еще оставался предметом острот для пожилых джентльменов, которые говорили, что пока еще вполне могут передвигаться на своих двоих, и пугалом для пожилых дам, которые при виде его шарахались на обочину. Я долго завидовал мальчикам, приезжавшим в школу на своих велосипедах. Они имели прекрасную возможность покрасоваться, когда въезжали в ворота, не держась за руль. Я выпросил у дяди позволение завести велосипед, как только начнутся летние каникулы, и хотя тетя была против и говорила, что я только шею на нем сломаю, но дядя поддался на мои уговоры, в особенности потому, что платил за велосипед, конечно, я сам из собственных денег. Я заказал велосипед еще до конца занятий, и через несколько дней посыльный доставил мне его из Теркенбери.

Я был полон решимости научиться ездить самостоятельно: ребята из школы говорили, что им понадобилось на это каких-нибудь полчаса. После многократных попыток я наконец пришел к выводу, что отличаюсь из ряда вон выходящей неуклюжестью. И даже унизившись до того, чтобы позволить садовнику меня поддерживать, я к концу первого дня все равно был так же далек от умения самостоятельно садиться на велосипед, как и в самом начале. Тем не менее на следующий день я решил, что дорожка для экипажей, которая вела к нашему дому, слишком извилиста, и выкатил велосипед на шоссе невдалеке от дома, которое было, как я знал, совершенно ровным, прямым и достаточно безлюдным, чтобы никто не видел, как я буду срамиться. Несколько раз я пытался сесть на велосипед, но каждый раз падал. Я ободрал щиколотки о педали, весь вспотел и обозлился. Примерно через час я пришел к выводу, что господу не угодно, чтобы я научился кататься, но твердо решил наперекор ему добиться своего, боясь и подумать о тех издевках, которые ждут меня со стороны его представителя в Блэкстебле — моего дяди. Тут я с неудовольствием увидел на пустынной дороге двух велосипедистов. Я немедленно откатил свою машину на обочину и уселся на ступеньку перелаза под изгородью, беззаботно глядя на море, как будто я накатался и теперь просто сижу, погрузившись в созерцание океанских далей. Я старался не глядеть в сторону приближавшихся людей, но знал, что они все ближе и ближе, и уголком глаза мог разглядеть, что это мужчина и женщина. Когда они поравнялись со мной, женщина вдруг резко свернула вбок, врезалась в меня и упала.

— Ох, извините, — сказала она. — Я так и поняла, что упаду, как только вас увидела.

При таких обстоятельствах было совершенно невозможно притворяться, будто ничего не замечаешь, и я, покраснев до ушей, сказал, что это пустяки.

Увидев, что она упала, мужчина слез с велосипеда.

— Не ушиблась? — спросил он.

— О нет.

Тут я узнал его — это был Эдуард Дриффилд, тот писатель, которого я несколько дней назад встретил с дядиным помощником.

— Я только учусь ездить, — сказала его спутница. И стоит мне что-нибудь увидеть на дороге, как я падаю.

— Вы не племянник священника? — спросил Дриффилд. — Я вас на днях видел. Гэллоуэй сказал мне, кто вы. Познакомьтесь — это моя жена.

Она как-то очень непосредственно протянула мне руку и, когда я взял ее, горячо и крепко пожала мою. Она улыбалась и губами, и глазами, и в этой улыбке я даже тогда почувствовал что-то странно привлекательное. Я смутился. С незнакомыми людьми я всегда впадал в ужасную застенчивость, и поэтому никаких подробностей ее внешности я не заметил. У меня осталось только общее впечатление — довольно крупная светловолосая женщина. Не знаю, заметил ли я тогда или только вспомнил потом, что на ней была широкая синяя шерстяная юбка, розовая блузка с крахмальным передом и воротничком, а на пышных золотистых волосах — соломенная шляпка, какие в те годы назывались «канотье».

— Мне очень нравится кататься на велосипеде, а вам? — спросила она, поглядев на мою великолепную новую машину, прислоненную к изгороди. — Это, должно быть, замечательно, когда хорошо умеешь.

Я почувствовал в ее словах нотку восхищения моей сноровкой.

— Это дело практики, — ответил я.

— У меня сегодня третий урок. Мистер Дриффилд говорит, что у меня прекрасно получается, но я чувствую себя такой неуклюжей, что просто досадно. Сколько вам понадобилось времени, чтобы научиться?

Я покраснел до корней волос и едва выдавил из себя позорное признание.

— Я не умею, — сказал я. — Я только что купил велосипед и пробую в первый раз.

Здесь я немного слукавил, но успокоил свою совесть, добавив про себя: «Если не считать вчерашнего, у себя в саду».

— Если хотите, я вас поучу, — добродушно предложил Дриффилд. — Поехали!

— Нет, что вы, — возразил я. — Разве я могу...

— А почему бы и нет? — сказала его жена, а ее голубые глаза все так же дружески мне улыбались. — Мистер Дриффилд с удовольствием это сделает, а я пока немного отдохну.

Дриффилд взял мой велосипед, а я хоть и стеснялся, но не мог противиться его дружескому настоянию и неловко взгромоздился в седло. Меня качало из стороны в сторону, но он поддерживал меня своей сильной рукой.

— Быстрее, — подгонял он.

Мотаясь от одной обочины к другой, я нажимал на педали, а он бежал рядом. Когда, несмотря на его усилия, я все-таки свалился, нам обоим было очень жарко. При таких обстоятельствах трудновато сохранять высокомерие, подобающее племяннику священника по отношению к сыну управляющего мисс Вулф, и когда я пустился в обратный путь и какие-нибудь тридцать или сорок метров проехал сам, а миссис Дриффилд, подбоченясь, выбежала на середину дороги и закричала: «Давай! Давай! Два против одного на фаворита!» — я так смеялся, что совершенно забыл о своем положении в обществе. Мне удалось слезть самостоятельно, и мое лицо, несомненно, выражало полное торжество, когда я без всякой застенчивости выслушивал поздравления Дриффилдов с тем, что в первый же день научился ездить.

— Попробую — может, и я смогу сама, — сказала миссис Дриффилд, я снова присел на ступеньку и вместе с Дриффилдом смотрел на ее безуспешные старания.

Потом, немного огорченная, но не унывающая, она уселась отдохнуть рядом со мной. Дриффилд закурил трубку, и мы принялись болтать. Тогда я еще, конечно, этого не понимал, но теперь знаю, что она держалась с обезоруживающей простотой, так что каждый чувствовал себя с ней совершенно свободно. Говорила она оживленно, как ребенок, кипящий радостью жизни, а в ее глазах постоянно светилась обаятельная улыбка. Я не понимал тогда, почему эта улыбка мне так нравится. Я бы, пожалуй, назвал ее чуть-чуть лукавой, но лукавство — качество неприятное, а она улыбалась слишком невинно. Ее улыбка была скорее шаловливой, как у ребенка, который сделал что-то, что он считает смешным, но не сомневается, что вам это покажется озорством; и в то же время он знает, что вы на самом деле не очень рассердитесь, и если сами не догадаетесь сразу, он придет и все расскажет. Но тогда я, конечно, понимал только одно: когда она улыбалась, мне становилось хорошо.

Вскоре Дриффилд посмотрел на часы и сказал, что им пора. Он предложил нам всем вместе с шиком поехать обратно. Как раз в это время дядя и тетя должны были возвращаться домой после ежедневной прогулки по городу, и мне не хотелось рисковать, что меня увидят с людьми, которые им не нравились. Поэтому я попросил Дриффилдов ехать вперед: ведь они едут быстрее меня. Миссис Дриффилд не хотела об этом и слышать, а Дриффилд как-то странно на меня взглянул, и у него в глазах проскочила веселая искорка. Я подумал, что он понял мою уловку, и покраснел, а он сказал:

— Пусть едет один, Рози. В одиночку ему будет легче.

— Ну, ладно. Вы будете здесь завтра? Мы приедем.

— Постараюсь, — ответил я.

Они уехали, а я через несколько минут последовал за ними. Очень довольный собой, я доехал до самых ворот и ни разу не упал. Наверное, за обедом я немало хвастался, но о своей встрече с Дриффилдами умолчал.

На следующий день, около одиннадцати часов, я вывел свой велосипед из каретного сарая (так его называли, хотя там не было даже двуколки, — садовник держал в нем свою косилку для газонов и каток да Мэри-Энн — корм для цыплят). Я подвел велосипед к воротам, не без труда сел на него и поехал по дороге на Теркенбери до старого шлагбаума, а там свернул на проселок.

Небо было голубое, воздух теплый и в то же время свежий, как будто потрескивал от жары. Яркий, но не слепящий солнечный свет падал на дорогу и, казалось, отскакивал от нее, как резиновый мячик.

Я катался взад и вперед, поджидая Дриффилдов, и скоро они показались. Я помахал им, развернулся (для чего мне пришлось слезть), и мы покатили вместе. Миссис Дриффилд и я поздравили друг друга с достигнутыми успехами. Мы ехали старательно, мертвой хваткой вцепившись в руль, но торжествовали, и Дриффилд сказал, что, как только мы освоимся, нужно будет объездить все окрестности.

— Я хочу снять оттиски с нескольких бронзовых надгробий здесь поблизости, — сказал он.

Я не знал, что это такое, но он не стал объяснять.

— Потерпите, я вам покажу, — пообещал он. — Как вы думаете, под силу вам будет завтра проехать четырнадцать миль — семь туда и семь обратно?

— Конечно.

— Я захвачу для вас бумаги и воску, и вы сами сможете снять оттиски. Только попросите разрешения у дяди.

— Это вовсе не обязательно.

— Все-таки лучше попросите.

Миссис Дриффилд бросила на меня этот свой особенный взгляд, озорной и в то же время дружеский, и я покраснел. Я знал, что если спрошусь у дяди, то он скажет «нет», лучше уж ничего ему не говорить. Но как только мы двинулись дальше, я увидел, что навстречу едет в двуколке доктор. Когда он проезжал мимо, я глядел прямо перед собой в тщетной надежде, что, если я на него не посмотрю, он меня не заметит. Мне было не по себе. Если он меня видел, об этом быстро станет известно дяде или тете, и я размышлял, не будет ли безопаснее самому раскрыть секрет, который все равно больше хранить не удастся. Прощаясь со мной у наших ворот (мне пришлось вместе с ними доехать до самого дома), Дриффилд сказал, что, если мне можно будет завтра кататься с ними, лучше всего зайти к ним как можно раньше.

— Вы знаете, где мы живем? Рядом с церковью конгрегационалистов. Дом называется Лайм-коттедж.

За обедом я только и ждал повода невзначай сообщить, что случайно повстречал Дриффилда; но в Блэкстебле слухи распространяются быстрее.

— С кем это ты катался утром? — спросила тетя. — Мы встретили в городе доктора Энсти, и он сказал, что видел тебя.

Дядя с недовольным видом жевал ростбиф, угрюмо глядя в тарелку.

— Это Дриффилды, — ответил я небрежно. — Знаете, тот писатель. Мистер Гэллоуэй их знает.

— Они очень дурные люди, — сказал дядя. — Я не желаю, чтобы ты с ними общался.

— А почему? — спросил я.

— Я не собираюсь тебе объяснять. Достаточно того, что я этого не желаю.

— Как тебя угораздило с ними познакомиться? — спросила тетя.

— Просто я катался, и они катались, и предложили мне проехаться с ними, — приврал я.

— Какая навязчивость, — сказал дядя.

Я надулся. Тут подали сладкое, и, хотя это был мой любимый пирог с малиной, я, чтобы показать, как я обижен, отказался от своей порции. Тетя спросила, не заболел ли я.

— Нет, — ответил я как только мог надменно, — я чувствую себя хорошо.

— Ну съешь кусочек, — сказала тетя.

— Я не голоден.

— Ну, ради меня!

— Не хочет — не надо, — возразил дядя.

Я покосился на него.

— Ну, разве что маленький кусочек, — сказал я.

Тетя положила мне изрядный ломоть пирога, и я съел его с видом человека, который из чувства долга делает что-то крайне ему неприятное. Пирог был очень вкусный. Песочное тесто, которое делала Мэри-Энн, так и таяло во рту. Но когда тетя спросила меня, не осилю ли я еще кусочек, я с холодным достоинством отказался. Она не настаивала. Дядя произнес благодарственную молитву, и я, по-прежнему в оскорбленных чувствах, пошел в гостиную.

Но как только прислуга, по моим расчетам, кончила обедать, я пришел на кухню. Эмили чистила серебро, а Мэри-Энн мыла посуду.

— Послушай, чем плохи эти Дриффилды? — спросил я ее.

Мэри-Энн работала у нас с восемнадцати лет. Она купала меня еще маленького, давала мне порошки в сливовом джеме, когда это было нужно, собирала меня в школу, нянчила, когда я болел, читала мне, когда я скучал, и ругала, когда я шалил. Горничная Эмили была молода и легкомысленна, и, как говорила Мэри-Энн, неизвестно, что стало бы со мной, если бы ухаживать за мной поручили Эмили. Мэри-Энн родилась в Блэкстебле. За всю жизнь она ни разу не была в Лондоне, да и в Теркенбери, по-моему, бывала не больше трех-четырех раз. Она никогда не болела. Она никогда не брала выходных. Платили ей двенадцать фунтов в год. Раз в неделю она уходила вечером в город повидаться с матерью, которая на нас стирала, да по воскресеньям ходила в церковь. Тем не менее Мэри-Энн знала все, что происходит в Блэкстебле. Она знала всех: кто на ком женился, от чего умер чей отец, и сколько у кого детей, и как их зовут.

Когда я задал Мэри-Энн свой вопрос, она с плеском швырнула в раковину мокрую тряпку.

— Правильно сделал твой дядя, — сказала она. — На его месте я тоже не пустила бы тебя с ними, будь ты моим племянником. Подумать только — предложили тебе с ними кататься! Вот уж действительно есть такие люди, от которых всего можно ожидать.

Я догадался, что ей рассказали о нашем разговоре за обедом.

— Я не ребенок, — возразил я.

— Тем хуже. И как у них хватило наглости вообще сюда приехать! Сняли дом и делают вид, как будто они леди с джентльменом. Не тронь пирог.

Пирог с малиной стоял на кухонном столе; я отломил кусочек корки и сунул его в рот.

— Это на ужин. Если тебе хотелось добавки, почему не ел за обедом? Тед Дриффилд всегда был непоседой. А ведь хорошее образование получил. Кого мне жаль, так это его мать. Он доставлял ей хлопоты с самого рождения. А потом взял и женился на Рози Гэнн. Мне говорили, когда он сказал матери, что у него на уме, она слегла и лежала три недели и ни с кем не хотела разговаривать.

— Миссис Дриффилд была до замужества Рози Гэнн? Это какие же Гэнны?

Фамилия Гэнн была одной из самых распространенных в Блэкстебле. Могильные плиты на кладбище так и пестрели ею.

— О, ты их не знаешь. Ее отец был старый Джозия Гэнн. Тоже непутевый. Пошел в солдаты, вернулся с деревянной ногой. Он малярничал, но чаще сидел без работы. Рядом с нами они жили, в соседнем доме. Мы с Рози вместе ходили в воскресную школу.

— Но она же моложе тебя, — сказал я со всей прямотой своего возраста.

— Ей уже давно стукнуло тридцать.

Мэри-Энн была небольшого роста, курносая и с плохими зубами, но прекрасным цветом лица; не думаю, чтобы ей тогда было больше тридцати пяти.

— Рози на четыре-пять лет моложе меня, не больше, как бы она там ни молодилась. Говорят, ее теперь не узнать — разодета в пух и прах, и все такое.

— А правда, что она была буфетчицей? — спросил я.

— Да, в «Железнодорожном гербе», а потом в «Перьях принца Уэльского» в Хэвершеме. В «Железнодорожный герб» взяла ее на работу миссис Ривз, только кончилось это плохо, и пришлось ей от нее избавиться.

«Железнодорожный герб» был очень скромный маленький трактир как раз напротив станции на линии Лондон — Чатам — Дувр. В нем всегда царило какое-то зловещее веселье. Зимними вечерами, проходя мимо, можно было увидеть через стеклянную дверь мужчин, коротавших время у стойки. Мой дядя очень не любил это заведение и на протяжении многих лет добивался, чтобы его хозяев лишили разрешения на торговлю. Завсегдатаями трактира были железнодорожные носильщики, матросы с угольщиков и батраки. Респектабельные жители Блэкстебла брезговали заходить туда и если хотели выпить стаканчик пива, то шли в «Медведь и ключ» или в «Герцога Кентского».

— Да ну? А что же она такого натворила? — спросил я, вытаращив глаза.

— А чего она только не вытворяла, — ответила Мэри-Энн. — Как ты думаешь, что сказал бы твой дядя, если бы узнал, что я тебе все это рассказываю? Не было такого человека из тех, кто заходил туда выпить, с кем бы она не путалась. Все равно, кто бы он ни был. И ни с кем не оставалась надолго — меняла их одного за другим. Просто стыд и срам — так все и говорили. Там и началась эта история с Лордом Джорджем. Он в такие места не ходил — слишком важный был — но, говорят, случайно забрел туда, когда его поезд опоздал, и увидел ее. А потом так оттуда и не вылезал и водился со всеми этими забулдыгами, и все, конечно, знали, почему он там сидит, и это при жене и трех детях! Да мне было просто ее жаль. А сколько было разговоров! Ну, и в конце концов миссис Ривз объявила, что больше ни единого дня не намерена этого терпеть, дала ей расчет и велела забрать вещи и сматываться. Туда ей и дорога — вот что я сказала.

Лорда Джорджа я прекрасно знал. Его звали Джордж Кемп, а это ироническое прозвище он получил за то, что очень важничал. Он торговал у нас углем, но, кроме того, подрабатывал продажей недвижимости и был в доле с владельцами нескольких угольщиков. Жил он в новом кирпичном доме на собственной земле и ездил в собственной двуколке. Это был дородный человек с остроконечной бородкой, красным лицом и нахальными голубыми глазами. Сейчас, припоминая его, я думаю, что он, наверное, был похож на какого-нибудь веселого краснолицего купца с картин старых голландцев. Одевался он всегда очень крикливо, и когда он резвой рысцой проезжал по середине Хай-стрит в коротком пальто песочного цвета с большими пуговицами, надетом набекрень коричневом котелке и с красной розой в петлице, не поглядеть на него было просто невозможно. По воскресеньям он обычно являлся в церковь в глянцевом цилиндре и сюртуке. Все знали, что он хотел стать церковным старостой, и с его энергией он, конечно, принес бы много пользы, но дядя сказал, что только через его труп, и стоял на своем, хотя Лорд Джордж, обидевшись, целый год ходил в церковь конгрегационалистов. Встречая его на улице, дядя с ним не разговаривал. Потом их помирили, и Лорд Джордж снова стал ходить к нам в церковь, но дядя смягчился лишь настолько, что назначил его помощником старосты. Местные землевладельцы-дворяне считали его вульгарным, и я не сомневаюсь, что он был в самом деле тщеславен и хвастлив. Ему ставили в упрек громкий голос и резкий смех — когда он с кем-нибудь разговаривал, каждое слово было слышно на другой стороне улицы, — а его манеры считали ужасными. Он был слишком общителен и вел себя с ними так, как будто вовсе и не занимался торговлей, и они говорили, что он чересчур навязчив. Но если он надеялся, что его панибратство, участие в общественных мероприятиях, щедрые взносы на проведение ежегодной регаты или праздника урожая и готовность оказать всякому услугу могут пробить для него дорогу в Блэкстебле, то он ошибался. Его общительность вызывала к нему лишь враждебное отношение.

Помню, как-то у тети сидела в гостях жена доктора. Вошла Эмили и сказала дяде, что с ним хочет поговорить мистер Джордж Кемп.

— Но ведь звонили, по-моему, в парадную дверь, — сказала тетя.

— Да, он пришел с парадного хода.

Наступила неловкая пауза. Никто не знал, как себя вести при таких необычных обстоятельствах, и даже Эмили, прекрасно понимавшая, кто должен входить через парадную дверь, кто — через боковую, а кто — с черного хода, и та немного растерялась. Думаю, что добродушная тетя была просто поражена, как это кто-то может поставить себя в такое ложное положение; а жена доктора презрительно фыркнула. Наконец дядя собрался с мыслями.

— Проведите его в кабинет, Эмили, — сказал он. — Я приду туда, как только допью чай.

Но Лорд Джордж был по-прежнему полон кипучей энергии, весел и шумен. Он говорил, что наш город — как мертвый и что он его разбудит. Он добьется, чтобы сюда пустили экскурсионные поезда. Почему бы Блэкстеблу не стать вторым Маргетом? И потом, почему бы нам не иметь своего мэра? В Ферн-Бей есть мэр.

— Наверное, сам метит в мэры, — говорили в Блэкстебле, брезгливо морщась. — Не доведет его гордыня до добра.

А дядя замечал, что насильно мил не будешь.

Я должен добавить, что относился к Лорду Джорджу с тем же высокомерным презрением, как и все вокруг. Меня возмущало, что он осмеливается останавливать меня на улице, называть по имени и говорить со мной так, будто у нас одинаковое положение в обществе. Он даже предлагал мне играть в крикет с его сыновьями — моими ровесниками. Но они ходили в среднюю школу в Хэвершеме, и я конечно же не желал иметь с ними никакого дела.

То, что рассказала Мэри-Энн, заинтриговало и поразило меня, но мне трудно было этому поверить. Слишком много романов я прочел и слишком многое усвоил в школе, чтобы не знать кое-что про любовь, — но я думал, что все это относится только к молодым людям. Я не мог представить себе, чтобы такие чувства испытывал бородатый человек, у которого есть сыновья, мои ровесники. Я думал, что после женитьбы все это кончается. То, что могут влюбляться люди, которым за тридцать, казалось мне отвратительным.

— Не хочешь же ты сказать, что они делали что-то нехорошее? — спросил я у Мэри-Энн.

— Судя по тому, что я слыхала, чего только Рози Гэнн не делала. И Лорд Джордж был не единственным.

— Ну погоди, почему же у нее не было ребенка?

В романах я читал, что стоит красивой женщине не устоять перед искушением, как у нее появляется ребенок. Суть дела всегда излагалась с бесконечной осторожностью, иногда на нее просто намекало многоточие, но результат был неизбежным.

— Везеньем, думаю, взяла, а не умом, — сказала Мэри-Энн, но тут же опомнилась и перестала вытирать тарелки. — Сдается мне, уж очень много ты знаешь, — сказала она.

— Конечно, знаю, — важно ответил я. — Черт возьми, ведь я уже почти взрослый, верно?

— Одно могу сказать, — продолжала Мэри-Энн. — Когда миссис Ривз выгнала ее, Лорд Джордж устроил ее в «Перья принца Уэльского» в Хэвершеме и вечно таскался туда в своей двуколке. Не говори мне только, будто пиво там лучше, чем здесь.

— А почему тогда Тед Дриффилд на ней женился? — спросил я.

— Спроси что-нибудь полегче, — ответила Мэри-Энн. Там, в «Перьях», он ее и увидел. Должно быть, больше никто за него не хотел идти. Ни одна приличная девушка за него бы не вышла.

— А он знал про нее?

— Это уж у него спроси.

Я умолк. Все это очень озадачивало.

— А как она теперь выглядит? — спросила Мэри-Энн. — Я не видала ее с тех пор, как она вышла замуж. Я даже не разговаривала с ней, как услышала про все эти делишки в «Железнодорожном гербе».

— Она выглядит хорошо, — сказал я.

— Вот и спроси ее, помнит ли она меня, — посмотрим, что она скажет.

## 6

Я окончательно решил на следующее утро ехать вместе с Дриффилдами, но знал, что если спрошу разрешения у дяди, то ничего хорошего из этого не получится. Если он узнает об этом потом и будет ругаться, — тут уж ничего не поделаешь, а если Тед Дриффилд спросит, разрешил ли мне дядя ехать, то я был готов ответить, что разрешил. Но в конце концов врать мне не пришлось. После обеда, во время прилива, я собрался на пляж купаться, а дядя пошел со мной: у него были какие-то дела в городе. Не успели мы миновать «Медведь и ключ», как оттуда вышел Тед Дриффилд. Он заметил нас и прямо направился к дяде. Я был поражен его спокойствием.

— Добрый день, священник, — сказал он. — Вы меня помните? Я еще мальчишкой пел у вас в хоре. Я Тед Дриффилд. Мой папаша служил управляющим у мисс Вулф.

Мой дядя, человек очень робкий, был захвачен врасплох.

— Да, да, здравствуйте. Я был очень огорчен, когда узнал, что ваш отец умер.

— Я познакомился с вашим юным племянником. Вы не разрешите ему завтра со мной прокатиться? Одному ему кататься скучно, а я собираюсь снять оттиски с одной надгробной доски в Ферн-Черче.

— Это очень любезно с вашей стороны, но...

Дядя собирался было ответить отказом, но Дриффилд перебил его:

— Я присмотрю, чтобы он вел себя хорошо. Наверное, он тоже захочет сделать для себя оттиск — все-таки польза. Бумаги и воску я дам, так что ему это ничего не будет стоить.

Дядя не отличался последовательностью в рассуждениях, и предложение Дриффилда заплатить за мою бумагу и воск так его обидело, что он совсем забыл о своем намерении запретить мне ехать.

— Он вполне может и сам купить бумагу и воск, — сказал дядя. — У него хватает карманных денег, и уж лучше пусть тратит их на что-нибудь в этом роде, чем объедаться лакомствами.

— Ну ладно, пусть зайдет в писчебумажный магазин Хейуорда и попросит такой же бумаги, какую я брал, и воску.

— Я пойду сейчас, — сказал я и, пока дядя не передумал, помчался через улицу.

## 7

Не знаю, почему Дриффилды так заботились обо мне, — разве что просто по доброте сердечной. Я не был ни умен, ни разговорчив, и если развлекал Теда Дриффилда, то без всякого намерения с моей стороны. Может быть, его забавляло мое высокомерие. Я оставался при своем убеждении, что снисхожу до общения с сыном управляющего мисс Вулф, да еще к тому же писакой, как его называл дядя; и когда я, вероятно с легким оттенком презрения, попросил у него почитать какую-нибудь его книжку, а он сказал, что мне будет неинтересно, я поверил ему на слово и настаивать не стал.

Мой дядя, однажды разрешив мне покататься с Дриффилдами, больше не возражал против нашего знакомства. Иногда мы вместе ходили под парусами, иногда ездили в какое-нибудь живописное место, где Дриффилд делал наброски акварелью. Не знаю, был ли тогда климат в Англии лучше или это просто юношеская иллюзия, но мне помнится, будто все это лето солнечные дни шли один за другим непрерывной чередой. Я начал чувствовать странную привязанность к этой холмистой, плодородной и уютной местности. Мы ездили на далекие прогулки то в одну, то в другую церковь, снимая оттиски с бронзовых надгробных досок, на которых были изображены рыцари в доспехах и дамы в пышных фижмах. Тед Дриффилд заразил меня своим увлечением, и я со страстью предавался этому нехитрому занятию. Плоды своего усердия я с гордостью показывал дяде, а он, по-моему, думал, что, находясь в церкви, я не могу натворить ничего плохого, в каком бы обществе ни был.

Пока мы работали, миссис Дриффилд обычно оставалась снаружи — не читала и не шила, а просто гуляла вокруг; по-видимому, она была способна сколько угодно времени ничего не делать, не испытывая скуки. Иногда я выходил к ней, и мы сидели на траве, болтая о моей школе, о моих тамошних приятелях, об учителях, о жителях Блэкстебла и просто так, ни о чем. Мне было приятно, что она называет меня «мистер Эшенден». Думаю, что она первая начала меня так называть, и из-за этого я чувствовал себя взрослым. Я терпеть не мог, когда меня называли «мастер Уилли», потому что это казалось мне смешным. Если на то пошло, мне вообще не нравились ни мое имя, ни моя фамилия, и я проводил много времени, придумывая новые, более подходящие. Больше всего мне нравилось имя Родрик Рэвенсуорт, и я исписывал целые листы бумаги, подписываясь этим именем с соответствующим лихим росчерком. Не стал бы я возражать и против того, чтобы меня звали Людовик Монтгомери.

Я никак не мог переварить то, что Мэри-Энн рассказала мне про миссис Дриффилд. Хотя в теории я знал, что делают люди, когда женятся, и вполне мог изложить фактическую сторону дела в самых прямых выражениях, но в действительности я этого не понимал. Подобные вещи казались мне довольно противными, и в конечном счете я всему этому не совсем верил. В конце концов, я же понимал, что земля круглая, но ведь я прекрасно знал, что она плоская! Миссис Дриффилд выглядела такой искренней, так открыто смеялась, во всем ее поведении было что-то такое молодое и ребячливое, что я не мог представить себе ее «путавшейся» с матросами, не говоря уж о таком ужасном и неприличном человеке, как Лорд Джордж. Она была совсем не похожа на тех «падших женщин», о которых я читал в романах. Конечно, я знал, что она — «не из хорошего общества», и говорила она с блэкстеблским акцентом и время от времени делала ошибки в произношении, а ее грамматика иногда меня просто шокировала, — но она мне нравилась, и я ничего не мог с этим поделать. Я пришел к выводу, что Мэри-Энн все наврала.

Как-то я сказал ей, что Мэри-Энн — наша кухарка.

— Она говорит, что была вашей соседкой на Райлейн, — добавил я, готовый услышать в ответ, что миссис Дриффилд никогда о ней не слыхала. Но она улыбнулась, и ее голубые глаза радостно засияли.

— Это верно. Она водила меня в воскресную школу. Ох, и билась она, чтобы заставить меня сидеть спокойно! Я слыхала, что она пошла служить к священнику. Надо же, что она все еще там! Я не видела ее не знаю сколько времени. Хорошо было бы как-нибудь ее повидать и поболтать о старине. Передайте ей привет от меня, ладно? И скажите, чтобы она заглянула, когда у нее будет свободный вечер. На чашку чаю.

Я был озадачен. В конце концов, Дриффилды снимали целый дом и поговаривали о том, чтобы его купить, и имели свою прислугу. Им вовсе не подобало принимать к чаю Мэри-Энн, а меня это поставило бы в очень неловкое положение. Они как будто не понимали, что можно делать, а чего просто нельзя. Меня всегда удивляло, как это они говорят о таких эпизодах из своего прошлого, о которых, по-моему, и заикаться не должны. Не знаю, в самом ли деле люди, среди которых я жил, были так претенциозны, так стремились выглядеть богаче или важнее, чем были на самом деле, но теперь мне кажется, что вся их жизнь была полна притворства. Они жили под непроницаемой маской респектабельности. Их никогда нельзя было застать без пиджака, с ногами на столе. Дамы не показывались на людях, не нарядившись в вечерние платья; в каждодневной жизни они соблюдали жестокую экономию, так что забежать к ним пообедать было нельзя, но уж если они принимали гостей, то столы ломились от яств. Какая бы катастрофа ни разражалась в семье, они высоко держали голову и не показывали виду. Пусть даже один из сыновей женился на актрисе — они никогда не упоминали об этом несчастье, и, хотя все соседи говорили, что это ужасно, в присутствии потерпевших они тщательно следили, чтобы разговор не зашел о театре. Все мы знали, что жена майора Гринкорта, который арендовал поместье «Три фронтона», была связана с торговлей, но ни она, ни майор никогда даже не намекали на эту позорную тайну; и хотя мы за глаза презрительно фыркали по их адресу, мы были слишком вежливы, чтобы даже упомянуть в их присутствии о посуде (источнике приличного дохода миссис Гринкорт). Не были диковинкой и такие случаи, когда разгневанный родитель лишал сына наследства или запрещал своей дочери, вышедшей замуж, как моя мать, за поверенного, переступать порог его дома. Все это было для меня привычным и естественным. А вот рассказы Теда Дриффилда о том, как он работал официантом в холборнском ресторане, звучавшие так, будто тут нет ничего особенного, меня шокировали. Я знал, что когда-то он сбежал из дома и нанялся матросом: это было романтично — я знал, что мальчики часто так поступают, во всяком случае в книгах, и сталкиваются с захватывающими приключениями, прежде чем жениться на дочке герцога с огромным состоянием. Но Тед Дриффилд был еще и кебменом в Мейдстоне, и клерком в конторе букмекера в Бирмингаме.

Как-то мы проезжали мимо «Железнодорожного герба», и миссис Дриффилд небрежно сказала, что здесь она проработала три года, как будто это самое обыкновенное дело.

— Здесь была моя первая работа, — сказала она. — Потом я перешла в «Перья» в Хэвершеме и работала там, пока не вышла замуж.

Она засмеялась, как будто это воспоминание доставило ей радость. Я не знал, что сказать и куда смотреть, и покраснел до ушей.

В другой раз, когда мы ехали через Ферн-Бей, возвращаясь после долгой прогулки по жаре, и всем очень хотелось пить, она предложила зайти в «Дельфин» и выпить по стакану пива. Она разговорилась с девушкой, которая торговала за стойкой, и я с ужасом услышал, как она сказала, что сама пять лет этим занималась. К нам вышел хозяин, и Тед Дриффилд угостил его, а миссис Дриффилд заказала стакан портвейна для буфетчицы, и все дружески болтали о торговле, и о поставщиках, и о том, как растут цены. Меня бросало то в жар, то в холод, и я не знал, что делать. Когда мы вышли, миссис Дриффилд заметила:

— Мне понравилась эта девушка, Тед. Кажется, она неплохо устроилась. Я ей говорю: это жизнь трудная, но зато веселая. Видишь, что происходит крутом, а если будешь правильно себя вести, то неплохо выйдешь замуж. Я заметила у нее обручальное кольцо, но она сказала, что носит его просто так, потому что это дает повод парням с ней заигрывать.

Дриффилд засмеялся. Она повернулась ко мне:

— Веселое это было время, когда я работала буфетчицей. Но, конечно, всю жизнь так нельзя. Нужно подумать и о будущем.

Но меня ждало еще большее потрясение. Дело было в середине сентября, и мои каникулы близились к концу. Я был весь полон Дриффилдами, но дома дядя не давал мне о них говорить.

— Мы не желаем, чтобы ты совал повсюду своих друзей, — говорил он. — Есть более подходящие темы для разговора. Но я думаю, что раз Тед Дриффилд родился в этом приходе и видится с тобой почти каждый день, он мог бы и в церковь иногда заглядывать.

Однажды я сказал Дриффилду:

— Дядя хотел бы, чтобы вы ходили в церковь.

— Ладно. Пойдем в следующее воскресенье вечером, а, Рози?

— Пожалуйста, — ответила она.

Я сказал Мэри-Энн, что они придут. Я сидел на скамье, отведенной для семьи священника, сразу за лендлордом, и не мог оглянуться, но по тому, как вели себя соседи по другую сторону прохода, было видно, что они пришли, и как только мне на следующий день представился случай, я спросил Мэри-Энн, видела ли она их.

— Видела, будь покоен, — мрачно ответила Мэри-Энн.

— А ты говорила с ней потом?

— Я? — Она вдруг рассердилась. — А ну убирайся с кухни. Что ты тут целый день вертишься? Просто работать невозможно, когда ты все время попадаешься под ноги.

— Ладно, — сказал я, — нечего ругаться.

— Не знаю, что думает твой дядя, когда разрешает тебе шляться с такими людьми. Да еще вон какие цветы на шляпке. Как ей не стыдно на людях-то показываться? Уходи, мне некогда.

Почему Мэри-Энн так рассердилась, я не понял. Больше я с ней о миссис Дриффилд не заговаривал. Но два-три дня спустя я зашел за чем-то на кухню. У нас было две кухни: одна маленькая, в которой готовили всегда, и большая, построенная, наверное, в те времена, когда сельские священники имели большие семьи и давали роскошные обеды для окружающих помещиков; в ней Мэри-Энн обычно сидела и шила, закончив дневную работу. В восемь часов она подавала холодный ужин, так что после чаю ей было почти нечего делать.

Был седьмой час, смеркалось. Эмили отпустили на вечер, и я думал, что Мэри-Энн одна, но еще в коридоре услышал голоса и смех. Я догадался, что к Мэри-Энн кто-то зашел. В кухне горела лампа, но ее прикрывал плотный зеленый абажур, и было почти темно. Мэри-Энн пила чай с какой-то приятельницей. Когда я открыл дверь, разговор прекратился, а потом я услышал:

— Добрый вечер.

Вздрогнув от неожиданности, я увидел, что эта приятельница Мэри-Энн не кто иная, как миссис Дриффилд. Заметив мое изумление, Мэри-Энн рассмеялась.

— Рози Гэнн заглянула ко мне на чашку чаю, — сказала она. — Вот сидим и вспоминаем старину.

Мэри-Энн немного смутилась, когда я их застал, но я был смущен куда сильнее. Миссис Дриффилд улыбнулась мне своей ребячливой, озорной улыбкой: она чувствовала себя как дома. Почему-то я обратил внимание на ее платье — наверное, потому, что ни разу не видел ее такой важной. Платье было светло-голубое, очень узкое в талии, с короткими рукавами и длинной юбкой в оборках. На голове у нее красовалась большая черная соломенная шляпка с массой розочек, листочков и бантиков — очевидно, та самая, которую она надевала в воскресенье в церковь.

— Я подумала, что если ждать, пока Мэри-Энн придет ко мне, то придется прождать до второго пришествия, и решила зайти к ней сама.

Мэри-Энн смущенно усмехнулась, но видно было, что ей это приятно. Взяв что-то, за чем я приходил на кухню, я побыстрее убрался. Погулял в саду, потом оказался у ворот и стал глядеть поверх калитки на дорогу. Было уже темно. Скоро я заметил, что по дороге идет человек. Я не обратил на него внимания, но он ходил взад и вперед, как будто кого-то ждал. Сначала я подумал, что это, наверное, Тед Дриффилд, и уже собрался выйти к нему, когда он остановился и закурил трубку, и я увидел, что это Лорд Джордж. Я удивился, что он может здесь делать, и в этот самый момент мне пришло в голову, что он ждет миссис Дриффилд. У меня заколотилось сердце, и я отступил в тень от кустов, хотя и так стоял в темноте. Прошло еще несколько минут, потом я увидел, как боковая дверь открылась и вышла миссис Дриффилд, которую провожала Мэри-Энн. Я услышал ее шаги по гравию. Она подошла к калитке и отворила ее. Калитка открылась с легким щелчком.

При этом звуке Лорд Джордж перешел дорогу и, прежде чем она успела выйти, проскользнул внутрь. Он обнял ее и крепко прижал к себе. Она тихо засмеялась.

— Осторожно, я в шляпе, — прошептала она.

Я стоял не больше чем в трех футах от них и окаменел от страха при мысли, что они могут меня обнаружить. Я сгорал от стыда за них и весь дрожал от волнения. Целую минуту он держал ее в объятиях.

— Пойдем в сад? — шепнул он.

— Нет, там мальчик. Пойдем в поле.

Они вышли в калитку — он обнимал ее за талию — и скрылись в темноте. Тут сердце у меня заколотилось так, что даже дыхание перехватило. Я был настолько потрясен, что потерял всякую способность соображать. Все на свете я бы отдал за то, чтобы рассказать кому-нибудь о том, что видел, но это была тайна, которую я должен был хранить. Это придавало мне особую важность в собственных глазах. Не спеша направившись к дому, я вошел через боковую дверь. Мэри-Энн услышала, как она открылась, и окликнула меня:

— Это ты, мастер Уилли?

— Да.

Я заглянул на кухню. Мэри-Энн ставила на поднос ужин, чтобы нести его в столовую.

— На твоем месте я бы не стала говорить дяде, что Рози Гэнн была тут, — сказала она.

— Ну конечно, нет.

— Я просто сил нет как удивилась. Услышала стук в дверь, открываю, а там Рози! У меня ноги так и подкосились. «Мэри-Энн», — говорит, и не успела я опомниться, как она принялась меня целовать. Пришлось ее пригласить, а уж раз она вошла, пришлось попить с ней чаю.

Мэри-Энн старалась оправдаться. После всего, что она говорила про миссис Дриффилд, мне должно было показаться странным, что они сидели тут, болтали и смеялись. Но я не стал пользоваться своей победой.

— Она не так уж плоха, верно? — сказал я.

Мэри-Энн улыбнулась. Несмотря на черные, испорченные зубы, ее улыбка была милой и трогательной.

— Не знаю уж почему, но есть в ней что-то такое, что нельзя ее не любить. Она сидела здесь чуть ли не час, и я смело скажу — ни разу не начала задаваться. А я собственными ушами слышала, как она сказала, что этот материал у нес на платье стоит тринадцать шиллингов и одиннадцать пенсов за ярд, и я верю — так оно и есть. Она все помнит — и как я ее причесывала, когда она была совсем крошка, и как заставляла ее мыть ручки перед чаем. Ее мать иногда присылала ее к нам пить чай. Красивая она была тогда, как картинка.

Мэри-Энн углубилась в воспоминания, и ее смешное морщинистое лицо стало задумчивым.

— Ну ладно, — сказала она, помолчав. — В общем, не хуже она многих других, если бы только мы про них знали всю правду. Просто соблазнов у нее было больше. И вот что я скажу — что бы там они про нее ни говорили, а представься им самим случай, и они были бы не лучше.

## 8

Погода резко переменилась: похолодало, пошли проливные дожди. Нашим прогулкам пришел конец. Я не жалел об этом, я не представлял себе, как теперь буду смотреть в глаза миссис Дриффилд, зная, что она встречается с Джорджем Кемпом. Я был не столько шокирован, сколько поражен, и не мог понять, как ей может нравиться, когда ее целует этот пожилой человек. Мне, начитавшемуся романов, даже приходила в голову фантастическая мысль, будто Лорд Джордж каким-то образом держит ее в своей власти и, владея неким ужасным секретом, заставляет ее соглашаться на его отвратительные объятья. У меня рождались страшные предположения — о двоемужии, убийствах, подделке документов. В книгах почти каждый негодяй угрожал какой-нибудь беззащитной женщине разоблачением одного из этих преступлений. Может быть, миссис Дриффилд за кого-нибудь поручилась — я никогда не мог понять, что именно это означает, но знал, что последствия бывают самые катастрофические. Я рисовал себе картины ее отчаяния (долгие бессонные ночи, которые она просиживает в одной рубашке у окна, распустив до колен свои светлые волосы, и без всякой надежды ждет рассвета) и видел себя (не пятнадцатилетнего мальчишку, получающего шесть пенсов в неделю карманных денег, а высокого мужчину с нафабренными усами и стальными мускулами, в безукоризненном фраке), спасающего ее благодаря своему героизму и находчивости из лап гнусного шантажиста. Но, с другой стороны, непохоже было, чтобы она так уж против своей воли принимала ухаживания Лорда Джорджа, и в ушах у меня продолжал звучать ее смех. В нем слышалась нотка, которой я еще никогда не слыхал и от которой у меня почему-то захватило дух.

За весь остаток каникул я только один раз видел Дриффилдов. Мы случайно встретились в городе. Они остановились и заговорили со мной. Я опять очень смутился, а поглядев на миссис Дриффилд, не мог не покраснеть в замешательстве: по ее лицу ничуть не заметно было, что она чувствует свою тайную вину. Она смотрела на меня своими мягкими голубыми глазами, где таилось ребяческое игривое озорство. Ее полные розовые губы часто приоткрывались, как будто готовые улыбнуться. А честное лицо ее выражало ненависть и неподдельную откровенность — это я очень хорошо почувствовал, хотя тогда и не сумел бы выразить. Если бы я попробовал подобрать для этого слова, я, вероятно, сказал бы: «С виду она честнее честного». Было просто невероятно, чтобы она могла «гулять» с Лордом Джорджем. Должно было существовать какое-то объяснение; я не верил в то, что видел своими глазами.

И вот настал день, когда мне нужно было возвращаться в школу. Возчик взял мой чемодан, и я налегке пошел на станцию. Предложение тети проводить меня я отверг: мне казалось, что идти одному более подобает мужчине, но, когда я шел по улице, я чувствовал себя несколько подавленным. В Теркенбери вела маленькая железнодорожная ветка, и станция была на другом конце города, недалеко от пляжа. Я взял билет и устроился в уголке вагона третьего класса. Вдруг я услышал голос: «Вот он!» — и в вагон весело ворвались Дриффилды.

— Мы решили прийти и проводить вас, — сказала Рози. — Вам, наверное, грустно?

— Нет, вовсе нет.

— Ну ничего, это ненадолго. У нас будет масса времени, когда вы вернетесь на рождество. Вы умеете кататься на коньках?

— Нет.

— А я умею. Я вас научу.

Ее веселье ободрило меня, и в то же самое время при мысли, что они приехали на станцию попрощаться со мной, у меня к горлу подкатил клубок. Я изо всех сил старался, чтобы на моем лице ничего нельзя было прочесть.

— В этом году я собираюсь много играть в регби, — сказал я. — Думаю, что попаду во вторую сборную.

Она посмотрела на меня сияющими добротой глазами с улыбкой на полных розовых губах. В ее улыбке было что-то такое, что всегда мне нравилось, а голос ее, казалось, чуть дрожит не то от смеха, не то от слез. На мгновение я с ужасом подумал, что сейчас она меня поцелует, и перепугался до полусмерти. Она продолжала разговор слегка шутливым тоном, как обычно взрослые говорят со школьниками, а Дриффилд стоял молча, смотрел на меня улыбающимися глазами и теребил бородку. Потом кондуктор дал резкий свисток и замахал красным флажком. Миссис Дриффилд пожала мне руку. Подошел и Дриффилд.

— До свидания, — сказал он. — Вот вам кое-что.

Он сунул мне в руку маленький сверток, и поезд тронулся. Развернув сверток, я нашел там две полкроны, обернутые в клочок бумаги. Я покраснел до ушей. Иметь лишние пять шиллингов было приятно, но мысль о том, что Тед Дриффилд осмелился дать мне подачку, наполнила меня яростью и унижением. Взять что-нибудь от него было для меня немыслимо. Правда, я катался с ним на велосипеде и ходил в море, но он не принадлежал к числу «сагибов» (это я усвоил от майора Гринкорта), и дать мне пять шиллингов было с его стороны оскорблением. Сначала я было решил вернуть ему деньги без единого слова, показав своим молчанием, как я возмущен таким нарушением приличий; потом я сочинил в уме полное достоинства ледяное письмо, в котором благодарил его за великодушие, но указывал, что он должен понять, насколько невозможно для джентльмена принять подачку, по сути дела, от постороннего человека. Я размышлял об этих двух полукронах несколько дней, и с каждым днем мне казалось, что Дриффилд не имел в виду ничего плохого, и к тому же ведь он очень дурно воспитан и ничего не понимает в жизни; мне не хотелось огорчить его, отослав деньги обратно, и в конце концов я их истратил. Но я успокоил свое ущемленное самолюбие тем, что не стал писать Дриффилду письмо с благодарностью за подарок.

Но когда настало рождество и я вернулся в Блэкстебл на каникулы, больше всего я стремился повидать Дриффилдов. В этом унылом, затхлом городке они одни, казалось, как-то связаны с внешним миром, который уже начинал вызывать у меня тревожное любопытство. Я не мог преодолеть свою застенчивость настолько, чтобы зайти к ним, и надеялся, что встречу их в городе. Но стояла ужасная погода, со свистом налетал неистовый ветер, пронизывая до костей, и немногих женщин, выходивших из дому по своим делам, несло по улице с развевающимися широкими юбками, как рыболовные шхуны в шторм. Внезапными шквалами обрушивался холодный дождь, а небо, которое летом так уютно окутывало гостеприимную местность, теперь превратилось в полную угрозы, давящую плотную пелену. Случайно встретиться с Дриффилдами надежды было мало, и наконец я собрался с духом и однажды после чаю ускользнул из дома.

До самой станции дорога была окутана кромешной тьмой, а дальше редкие и тусклые фонари все-таки позволяли держаться тротуара. Дриффилды жили в переулке, в маленьком двухэтажном доме с закопченными стенами из желтого кирпича и эркером на фасаде. Я постучал, и скоро маленькая горничная открыла дверь. Я спросил, дома ли миссис Дриффилд. Она неуверенно посмотрела на меня, сказала, что сейчас узнает, и ушла, оставив меня в коридоре. Я уже слышал голоса в следующей комнате, но они затихли, когда она открыла дверь и, войдя, закрыла ее за собой. Я ощутил какую-то таинственность; в домах друзей моего дяди, даже когда в камине не горел огонь и с вашим приходом приходилось зажигать газ, вас все равно сразу приглашали в гостиную. Но дверь открылась, и вышел Дриффилд. В коридоре было почти темно, и сначала он не мог разглядеть, кто пришел, но тут же узнал меня.

— А, это вы! А мы думали, когда с вами увидимся!

И он крикнул:

— Рози, это молодой Эшенден.

Миссис Дриффилд вскрикнула и, во мгновение ока появившись в коридоре, уже пожимала мне руку.

— Заходите, заходите. Раздевайтесь. Какая ужасная погода, да? Вы, наверное, закоченели.

Она помогла мне снять пальто и шарф, выхватила из рук шапку и потащила меня в теплую и душную маленькую комнату, заставленную мебелью. В камине горел огонь, а три газовые горелки с круглыми колпаками из матового стекла (у нас дома газа не было) заливали комнату ярким светом. В воздухе стояли клубы табачного дыма. Сначала, ошарашенный бурным приемом, я не разглядел, кто были два человека, которые встали, когда я вошел. Потом я увидел, что это дядин помощник мистер Гэллоуэй и Лорд Джордж Кемп. Мне показалось, что дядин помощник пожал мне руку с неохотой.

— Здравствуй. Я только зашел вернуть книги, которые брал у мистера Дриффилда, а миссис Дриффилд любезно предложила мне остаться и попить чаю.

Я не то что увидел, а почувствовал лукавый взгляд, который бросил на него Дриффилд. Он что-то сказал о богатстве неправедном — я понял, что это цитата, но не уловил ее смысла. Мистер Гэллоуэй рассмеялся.

— Ну, не знаю, — сказал он. — А как насчет мытарей и грешников?

Я подумал, что это замечание весьма дурного вкуса, но тут в меня вцепился Лорд Джордж. Он чувствовал себя вполне непринужденно.

— Ну, молодой человек, приехали домой на каникулы? Честное слово, вы необыкновенно выросли.

Я довольно холодно пожал ему руку. «Лучше бы я не приходил», — подумал я.

— Дайте-ка я вам налью чашку хорошего крепкого чая, — предложила миссис Дриффилд.

— Я уже пил.

— Ну, выпейте еще, — вмешался Лорд Джордж с таким видом, как будто хозяин здесь он, что было вполне в его духе. — У такого здорового парня всегда должно найтись место еще для одного бутерброда с джемом, а миссис Д. отрежет вам кусочек пирога своими собственными прелестными ручками.

Чайная посуда была еще на столе, за которым они сидели. Мне подставили стул, и миссис Дриффилд дала мне кусок пирога.

— А мы как раз уговаривали Теда спеть нам песню, — сказал Лорд Джордж. — Давайте, Тед.

— Спой «Все из-за того солдата», Тед, — сказала миссис Дриффилд. — Мне она очень нравится.

— Нет, спойте «Тут взялись мы за него».

— Смотрите, как бы я не спел обе, — пошутил Дриффилд.

Он взял с пианино банджо, подстроил его и запел. У него был прекрасный баритон. Я привык к пению: когда у нас устраивали званый чай или когда мы шли в гости к майору или доктору, гости всегда приносили с собой инструменты и оставляли их в передней, чтобы не казалось, будто они навязываются со своей музыкой и пением. Но после чая хозяйка спрашивала, принесли ли они инструменты, они робко признавались, что принесли, и если это происходило у нас, меня посылали за ними. Бывало и так: какая-нибудь молодая дама говорила, что она совсем уже забросила музыку и ничего с собой не взяла, и тогда вмешивалась ее мать и говорила, что инструмент захватила она. Но пели они не комические песенки, а «Напев Аравии», или «Доброй ночи, любовь моя», или «Королеву моей души». Однажды на ежегодном концерте в собрании мануфактурщик Смитсон спел комическую песенку, и, хотя в задних рядах бурно аплодировали, общество нашло, что в ней нет ничего смешного. Возможно, так оно и было. Во всяком случае, перед следующим концертом его попросили более тщательно выбирать, что петь («Не забудьте, мистер Смитсон, здесь присутствуют леди!»), и он исполнил «Смерть Нельсона».

Следующая песенка Дриффилда была с припевом, который рьяно подхватили дядин помощник и Лорд Джордж. С тех пор я слышал ее много раз, но могу вспомнить только четыре строчки:

*Тут взялись мы за него —*

*Открывал он двери лбом,*

*И ступеньки все считал,*

*И валялся под столом.*

Когда песенка кончилась, я, как хорошо воспитанный человек, обратился к миссис Дриффилд:

— А вы не поете?

— Петь-то пою, но так, что молоко прокисает, и Тед не очень это приветствует.

Дриффилд отложил банджо и закурил трубку.

— Ну, а как подвигается твоя книга, Тед? — дружески спросил Лорд Джордж.

— Да ничего, работаю.

— Чудак ты, Тед, со своими книгами, — засмеялся Лорд Джордж. — Почему бы тебе не остепениться и не заняться для разнообразия чем-нибудь приличным? Я бы взял тебя к себе на работу.

— Да мне и так хорошо.

— Оставь его в покое, Джордж, — сказала миссис Дриффилд. — Ему нравится писать, и я думаю так: пока это доставляет ему удовольствие, пусть его.

— Ну, конечно, я не говорю, что понимаю что-нибудь в книжках... — начал Джордж Кемп.

— Так и не рассуждай о них, — перебил с улыбкой Дриффилд.

— По-моему, человек, который написал «Тихую гавань», может этого не стыдиться, — сказал мистер Гэллоуэй, — что бы там ни писали критики.

— Слушай, Тед, я знаю тебя с детства и все-таки не смог ее прочитать, как ни старался.

— Нет, нет, не надо говорить о книгах, — вмешалась миссис Дриффилд. — Спой нам еще, Тед.

— Мне пора, — сказал дядин помощник и повернулся ко мне. — Мы можем пойти вместе. Дриффилд, вы дадите мне что-нибудь почитать?

Дриффилд указал на кучу новых книг, наваленных на — столе в углу.

— Выбирайте.

— Боже, сколько их! — сказал я, жадно на них глядя.

— О, это все дрянь. Прислали на рецензию.

— А что вы с ними делаете?

— Отвожу в Теркенбери и продаю, за сколько могу. Все-таки подспорье.

Дядин помощник выбрал несколько книг и вышел вместе со мной, неся их под мышкой.

— Ты сказал дяде, что идешь к Дриффилдам? — спросил он.

— Нет. Я просто вышел погулять, и мне вдруг пришло в голову к ним заглянуть.

Это, конечно, не совсем соответствовало действительности, но мне не хотелось говорить мистеру Гэллоуэю, что, хоть я уже практически взрослый, дядя мало с этим считается и вполне может запретить мне видеться с людьми, которые ему не по душе.

— На твоем месте я бы не стал об этом рассказывать без особой нужды. Дриффилды — хорошие люди, но твой дядя их не очень одобряет.

— Знаю, — сказал я. — Все это чепуха.

— Конечно, они простоваты, но пишет он неплохо, и, если подумать, в какой обстановке он вырос, вообще удивительно, что он пишет.

Я понял, куда он клонит, и обрадовался. Мистер Гэллоуэй не хотел, чтобы дядя знал о его дружбе с Дриффилдами. В любом случае я мог быть уверен: он меня не выдаст.

Наверное, то, что дядин помощник так снисходительно отзывался о человеке, который уже давно признан одним из величайших поздневикторианских романистов, теперь может вызвать улыбку; но именно так о Дриффилде обычно говорили в Блэкстебле. Как-то нас пригласила к чаю миссис Гринкорт, у которой гостила ее двоюродная сестра, жена преподавателя из Оксфорда, слывшая весьма образованной особой. Эта миссис Энкомб была маленького роста, с живым морщинистым лицом; она поразила нас тем, что коротко стригла свои седые волосы и носила черную шерстяную юбку, едва доходившую до верхнего края туфель с квадратными носами. Это была первая Современная Женщина, появившаяся в Блэкстебле. Мы были потрясены и сразу же заняли оборонительные позиции, потому что она выглядела умной, а мы от этого робели. (Потом все мы издевались над ней, и дядя говорил тете: «Нет, дорогая, я рад, что ты не так умна, по крайней мере, от этого я избавлен»; а когда тетя была в игривом настроении, она надевала поверх своих туфель дядины шлепанцы, согревавшиеся у огня, и говорила: «Смотрите — современная женщина». И потом мы все говорили: «Какая смешная эта миссис Гринкорт: никогда не знаешь, что она еще придумает. А все-таки она — не совсем то...» Мы никак не могли простить ей того, что ее отец был хозяином фарфоровой фабрики, а дед — рабочим.)

Но всем нам было очень интересно слушать, как миссис Энкомб рассказывает о людях, которых она знала. Дядя учился в Оксфорде, но оказалось, что все, о ком он спрашивал, уже умерли. Миссис Энкомб была знакома с миссис Хэмфри Уорд и восхищалась «Робертом Элсмиром». Дядя считал его скандальной книгой и был удивлен, когда узнал, что мистер Гладстон, по крайней мере называвший себя христианином, сказал о ней несколько хороших слов. Дядя даже поспорил с миссис Энкомб. Он сказал, что, по его мнению, эта книга внесет в умы смуту и внушит людям такие мысли, которых им лучше бы не иметь. Миссис Энкомб отвечала, что он так не думал бы, если бы знал миссис Хэмфри Уорд. Это весьма достойная женщина, племянница мистера Мэтью Арнольда, и, что бы вы ни думали о самой книге (а она, миссис Энкомб, готова признать, что кое-что в ней лучше было бы убрать), совершенно очевидно, что она написала ее из наилучших побуждений. Миссис Энкомб знала и мисс Браутон. Она из очень хорошей семьи, и странно, что она пишет такие книги.

— Я не вижу в них ничего плохого, — сказала миссис Хэйфорт, жена доктора. — Мне они нравятся, особенно «Красна, как розочка».

— А вы хотели бы, чтобы их прочли ваши девочки? — спросила миссис Энкомб.

— Пока еще нет, вероятно, — ответила миссис Хэйфорт, — но, когда они выйдут замуж, я ничего не буду иметь против.

— Тогда вам, может быть, интересно будет узнать, — сказала миссис Энкомб, — что, когда на прошлую пасху я была во Флоренции, меня познакомили с Уйда.

— Это совсем другое дело, — возразила миссис Хэйфорт. — Я не представляю, чтобы хоть одна леди могла читать книги Уйда.

— Я прочла одну из любопытства, — сказала миссис Энкомб. — Должна сказать, что такого скорее можно было ждать от француза, чем от порядочной англичанки.

— Но, насколько я понимаю, она на самом деле — не англичанка. Я слышала, что ее настоящее имя — мадемуазель де ля Раме.

Тут-то мистер Гэллоуэй и завел речь об Эдуарде Дриффилде.

— Знаете, а у нас здесь тоже живет писатель, — вставил он.

— Мы не очень им гордимся, — сказал майор. — Это сын управляющего старой мисс Вулф, а женился он на буфетчице.

— А хорошо ли он пишет? — спросила миссис Энкомб.

— Сразу видно, что он — не джентльмен, — ответил дядин помощник, — но если принять во внимание, какие трудности ему пришлось преодолеть, это просто замечательно, что он так пишет.

— Он приятель нашего Уилли, — сказал дядя.

Все посмотрели на меня, и я очень смутился.

— Прошлым летом они вместе катались на велосипеде, и, когда Уилли вернулся в школу, я взял в библиотеке одну из книг Дриффилда, чтобы посмотреть, на что они похожи. Я прочел первый том, отослал его обратно, написал довольно резкое письмо библиотекарю и был рад, когда узнал, что он больше эту книгу не выдает. Если бы она была моя, я бы тут же отправил ее в печь.

— Я сам пробежал одну его книгу, — признался доктор. — Мне было интересно, потому что действие происходит в наших местах, и я кое-кого в ней узнал. Но не могу сказать, чтобы она мне понравилась: по-моему, слишком груба.

— Я говорил ему об этом, — сказал мистер Гэллоуэй, — он ответил, что матросы с угольщиков, что ходят в Ньюкасл, и рыбаки, и работники на фермах ведут себя не так, как леди и джентльмены, и говорят совсем иначе.

— Так зачем о таких писать? — возразил дядя.

— Вот именно, — отозвалась миссис Хэйфорт. — Все мы знаем, что на свете есть грубые, и злые, и плохие люди, но я не понимаю, какой смысл о них писать.

— Я не защищаю его, — сказал мистер Гэллоуэй, — я просто рассказываю вам, как он сам это объясняет. Ну и, конечно, он вспомнил Диккенса.

— Диккенс — совсем другое дело, — заявил дядя. — Я не представляю, чтобы кто-нибудь мог что-то возразить против «Пиквикского клуба».

— По-моему, это дело вкуса, — сказала тетя. — Я всегда считала, что Диккенс очень груб. Я не желаю читать о людях, которые неправильно говорят. Очень хорошо, что стоит плохая погода и Уилли не может больше кататься с мистером Дриффилдом. По-моему, это не такой человек, с которым стоит общаться.

Я и мистер Гэллоуэй смущенно потупились.

## 9

Все время, какое мне оставляли скромные рождественские развлечения Блэкстебла, я проводил в домике Дриффилдов рядом с конгрегационалистской церковью. Там я постоянно встречал Лорда Джорджа и часто — мистера Гэллоуэя. Общая тайна сблизила нас, и, встречаясь у нас дома или в ризнице после службы, мы лукаво переглядывались. Мы не говорили о своем секрете, но наслаждались им; по-моему, мы оба были очень довольны, что водим дядю за нос. Но как-то мне пришло в голову, что Джордж Кемп, встретившись с дядей на улице, может между прочим заметить, что часто видит меня у Дриффилдов. Я сказал мистеру Гэллоуэю:

— А как насчет Лорда Джорджа?

— Ну, это я уладил.

Мы ухмыльнулись. Лорд Джордж начинал мне нравиться. Сначала я был с ним весьма холоден и изысканно вежлив, но он, казалось, совершенно не ощущал разницы в нашем социальном положении, и мне пришлось признать, что своей высокомерной вежливостью я не смог поставить его на место. Он был неизменно добродушен, весел, даже шумлив; он запросто подшучивал надо мной, а я отвечал ему школьными остротами; мы смешили всех остальных, и это располагало меня к нему. Он вечно распространялся о своих грандиозных планах, но не обижался на мои шутки по их поводу. Я с интересом слушал, как он высмеивал блэкстеблских знаменитостей, и, когда он подражал их повадкам, я покатывался со смеху. Он был криклив и вульгарен, и его манера одеваться всегда меня шокировала (я никогда не бывал на ипподроме в Ньюмаркете и не видел ни одного тренера с бегов, но именно так я представлял себе ньюмаркетского тренера), и за столом он держался ужасно, но мое отвращение к нему все больше и больше ослабевало. Каждую неделю он давал мне почитать «Розовый журнал». Я брал его с собой, тщательно пряча в карман пальто, и читал у себя в спальне.

Я ходил к Дриффилдам всегда только после чая и там пил чай во второй раз. Потом Тед Дриффилд пел комические песни, аккомпанируя себе иногда на банджо, а иногда на пианино. Он мог часами петь, улыбаясь и глядя в ноты своими немного близорукими глазами, и любил, когда мы подхватывали припев. Потом мы играли в вист. Я обучился этой игре еще в детстве: дядя, тетя и я коротали дома за картами долгие зимние вечера. Дядя всегда садился с болваном и, хотя никаких денежных ставок, конечно, не было, но когда мы с тетей проигрывали, я залезал под стол и плакал. Тед Дриффилд говорил, что ничего в картах не понимает, и когда мы садились играть, устраивался у камина и с карандашом в руке читал какую-нибудь книгу, присланную ему из Лондона на рецензию. Играть вчетвером мне до тех пор не приходилось, и игрок я был, конечно, плохой, зато миссис Дриффилд оказалась прирожденной картежницей. Обычно она двигалась спокойно и неторопливо, но, когда дело касалось карт, действовала быстро, всегда была начеку и всех нас обыгрывала. Говорила она тоже, как правило, немного и медленно, но когда после каждой сдачи добродушно принималась растолковывать мне мои ошибки, что получалось у нее понятно и доступно, то становилась даже разговорчивой. Лорд Джордж подшучивал над ней, как и над всеми остальными. Она улыбалась его шуткам — смеялась она редко — и иногда удачно отшучивалась. Они вели себя не как любовники, а как старые приятели, и я бы совсем забыл, что о них говорили и что я видел сам, если бы время от времени она не смотрела на него так, что я приходил в замешательство. Ее взгляд спокойно останавливался на нем, как будто он был не человек, а стул или стол, и в глазах ее появлялась озорная, детская улыбка. Я заметил, что Лорд Джордж в таких случаях весь как будто надувался и начинал беспокойно ворочаться на стуле. Я посматривал на дядиного помощника, боясь, как бы он чего-нибудь не заметил, но он или был поглощен картами, или разжигал трубку.

Час-другой, который я проводил каждый день в этой душной, тесной, прокуренной комнате, проносились как одно мгновение. По мере того, как каникулы близились к концу, я начал приходить в отчаяние от мысли, что мне предстоит еще три месяца томиться в школе.

— Не знаю, что мы без вас будем делать, — говорила миссис Дриффилд. — Придется играть с болваном.

Я был рад, что мой отъезд испортит им игру. Мне не хотелось, делая уроки, думать о том, что они сидят в этой маленькой комнате и развлекаются, как будто меня нет на свете.

— Сколько времени у вас продолжаются пасхальные каникулы? — спросил мистер Гэллоуэй.

— Около трех недель.

— То-то весело мы проведем время, — сказала миссис Дриффилд. — Погода, наверное, будет хорошая. По утрам мы будем кататься, а после чая играть в вист. Вы стали играть гораздо лучше. Вот поиграем три-четыре раза в неделю во время ваших каникул, и можете смело садиться с кем угодно.

## 10

Но вот наконец занятия кончились. В прекрасном настроении я опять сошел с поезда в Блэкстебле. Я немного подрос, заказал себе в Теркенбери новый костюм — синий шерстяной, очень шикарный, и купил новый галстук. Я собирался идти к Дриффилдам сразу же, как только попью чаю, и надеялся, что посыльный вовремя принесет костюм и я смогу его надеть. В нем я выглядел совсем взрослым. Я уже начал каждый вечер мазать себе вазелином верхнюю губу, чтобы быстрее росли усы. Проходя по городу, я с надеждой заглянул в переулок, где жили Дриффилды. Мне хотелось забежать к ним, чтобы поздороваться, но я знал, что мистер Дриффилд по утрам пишет, а миссис Дриффилд «не в форме». У меня было что им порассказать. Я выиграл забег на сто ярдов и занял второе место по барьерному бегу. Осенью я собирался претендовать на приз по истории и для этого предполагал на каникулах подзаняться. Хотя дул восточный ветер, небо было голубое, и в воздухе пахло весной. Хай-стрит играла свежими красками, как будто промытая ветром, а четкие очертания домов были похожи на рисунок пером Сэмюела Скотта — спокойный, наивный и уютный. Мне так кажется сейчас, когда я вспоминаю тот день; тогда же это была для меня просто Хай-стрит в Блэкстебле. Проходя мимо железнодорожного моста, я заметил два или три строящихся дома. «Вот это да, — подумал я, — Лорд Джордж и в самом деле развернулся».

В поле за городом резвились белые ягнята. Вязы только начинали зеленеть. Я вошел в боковую дверь. Дядя сидел в своем кресле у огня и читал «Таймс». Я позвал тетю, она прибежала вниз, раскрасневшаяся от возбуждения, и обняла меня своими старыми худыми руками. При этом она сказала все, что полагалось: и «Как ты вырос!», и «Боже мой, у тебя скоро будут усы!».

Я поцеловал дядю в лысую макушку и встал спиной к камину, широко расставив ноги, чувствуя себя очень взрослым и важным. Потом я поднялся наверх поздороваться с Эмили, а потом — на кухню, к Мэри-Энн, и в сад — повидать садовника.

Когда я, голодный, уселся обедать и дядя резал мясо, я спросил тетю:

— Ну, что происходило в Блэкстебле, пока меня не было?

— Ничего особенного. Миссис Гринкорт уезжала на шесть недель в Ментону, но несколько дней назад вернулась. У майора был приступ подагры.

— А твои друзья Дриффилды сбежали, — добавил дядя.

— Что? — воскликнул я.

— Сбежали. Однажды ночью забрали свои вещи и смылись в Лондон. Остались должны всем и каждому. Ни за квартиру не заплатили, ни за мебель. Мяснику Харрису задолжали чуть ли не тридцать фунтов.

— Ужасно, — сказал я.

— Это бы еще ничего, — вставила тетя, — но они как будто даже не заплатили горничной, которая у них работала три месяца.

— Надеюсь, впредь, — сказал дядя, — ты станешь умнее и не будешь якшаться с людьми, которых мы с тетей считаем неподходящими для тебя знакомыми.

— Остается только пожалеть тех торговцев, которых они обманули, — сказала тетя.

— Так им и надо, — возразил дядя. — Нечего было предоставлять кредит таким людям! По-моему, всякий мог видеть, что это просто авантюристы.

— Я всегда удивлялась, зачем вообще они сюда приехали.

— Просто хотели пустить пыль в глаза. И наверное, думали, что раз здесь люди их знают, то им будет легче получать все в кредит.

Мне это показалось не очень логичным, но я был слишком подавлен, чтобы спорить.

При первой же возможности я расспросил Мэри-Энн, что она знает об этом деле. К моему удивлению, она отнеслась к этому вовсе не так, как дядя и тетя.

— Здорово они всех надули, — хихикнула она. — Швырялись деньгами направо и налево, и все думали, что у них кошелек битком набит. Грудинку у мясника брали самую лучшую, а уж если на жаркое, то только вырезку. И спаржу, и виноград, и я не знаю что. У них были счета в каждой лавке по всему городу. Не знаю, как это можно быть такими дураками.

Но она явно имела в виду не Дриффилдов, а торговцев.

— А как же им удалось удрать, чтобы никто не знал? — спросил я.

— Вот этого никто и не может понять. Говорят, им Лорд Джордж помог. Скажи-ка, как же они могли бы дотащить вещи на станцию, если бы он не подвез их в своей тележке?

— А он что говорит?

— Говорит, что ничего не знает. Тут такое творилось, когда до всех дошло, что Дриффилды улизнули! Просто смех. Лорд Джордж говорит, он не подозревал, что у них ничего нет, и прикидывается, будто тоже удивлен, как и все. Но я-то ни слову его не верю. Все мы знаем, что у него было с Рози до того, как она вышла замуж, да, между нами, я и не верю, что на этом все кончилось. Говорят, кто-то видел, как они прошлым летом прогуливались за городом, да и у них он бывал каждый божий день.

— А как все это стало известно?

— А вот как. У них там работала одна девушка, и они сказали ей, что она может идти к матери ночевать, но чтобы вернулась не позже восьми утра. Ну, пришла она и не может попасть в дом. Стучала, звонила — никто не отвечает. Она пошла к соседям и спросила там, что ей делать, и соседка говорит, что лучше всего пойти в полицию. Пришел сержант, он тоже звонил и стучал, и никакого ответа. Тогда он спросил ее, заплатили ли они ей, а она сказала — нет, за целых три месяца, и тогда он сказал: «Можешь мне поверить, они смылись, вот что». И когда вошли в дом, то увидели, что они взяли всю одежду, и все книги — говорят, у Теда Дриффилда их было ужасно много, — и все до последнего, что у них там было.

— И с тех пор никто о них ничего не слышал?

— Да в общем нет, только когда их не было уже с неделю, эта девушка получила письмо из Лондона, и, когда его распечатала, там не было никакого письма и ничего, а только почтовый перевод на те деньги, что она заработала. И если ты спросишь меня, то, по-моему, они просто молодцы, что не обманули бедную девушку.

Я был гораздо сильнее шокирован, чем Мэри-Энн. Я был весьма респектабельным юнцом. Читатель не мог не заметить, что я разделял все предрассудки своего класса, считая их такими же незыблемыми, как законы природы, и хотя огромные долги, о которых я читал в книгах, казались мне романтичными, а кредиторы с ростовщиками были обычными персонажами в мире моих фантазий, — я не мог не счесть неуплату долга торговцам подлым поступком, достойным презрения. Я смущенно слушал, когда в моем присутствии говорили о Дриффилдах, а как только речь заходила о моей дружбе с ними, я говорил: «Ну, знаете, я ведь едва был с ними знаком»; и когда меня спрашивали: «А правда, что они были ужасно вульгарны?», я отвечал: «Да, пожалуй, потомственной аристократией от них не пахло».

Бедный мистер Гэллоуэй был ужасно расстроен.

— Конечно, я не думал, что они богаты, — говорил он мне, — но полагал, что хоть концы с концами они сводят. Дом был очень прилично обставлен, и пианино новое. Мне и в голову не могло прийти, что они ни за что не платили. Они никогда себя не стесняли. Что меня больше всего огорчает — это обман. Я много у них бывал и, мне казалось, нравился им. Они всегда были такие гостеприимные. Вы не поверите, но когда я последний раз с ними виделся, миссис Дриффилд на прощанье пригласила меня приходить на следующий день, а Дриффилд сказал: «Завтра к чаю горячие булочки». А в это время наверху у них все уже было упаковано, и в ту же ночь они уехали последним поездом в Лондон.

— А что говорит об этом Лорд Джордж?

— Сказать вам правду, я последнее время не очень стремился с ним повидаться. Это мне хороший урок. Есть такая пословица о дурных знакомствах, которую я решил теперь твердо помнить.

Я относился к Лорду Джорджу примерно так же и тоже немного нервничал. Если бы ему пришло в голову рассказать кому-нибудь, что в рождественские каникулы я чуть ли не каждый день бывал у Дриффилдов, и если бы это дошло до дядиных ушей, мне грозило неприятное объяснение. Дядя обвинил бы меня в обмане, двуличии, непослушании и неджентльменском поведении, и мне было бы нечего ответить. Я достаточно хорошо его знал и мог быть уверен, что он дела так не оставит и будет напоминать мне об этом проступке многие годы. Я тоже был рад, что не встречался с Лордом Джорджем. Но однажды я столкнулся с ним лицом к лицу на Хай-стрит.

— Хэлло, юноша! — крикнул он, хотя такое обращение я особенно не любил. — Снова на каникулы?

— Вы совершенно правы, — ответил я, как мне показалось, с уничтожающим сарказмом. Увы, он только разразился хохотом.

— До чего же острый у вас язык — смотрите, не обрежьтесь, — добродушно ответил он. — Что ж, теперь нам с вами, похоже, в вист поиграть не придется? Видите, что получается, когда живешь не по средствам. Я так и говорю своим ребятам: если у тебя есть фунт и ты тратишь девятнадцать с половиной шиллингов, то ты богатый человек; а если тратишь двадцать с половиной, ты нищий. По мелочи, по мелочи большие деньги собираются!

Но хотя он это и говорил, в его голосе не слышалось никакого неодобрения, а только усмешка, как будто про себя он потешался над этими прописными истинами.

— Говорят, вы помогли им улизнуть, — заметил я.

— Я? — Его лицо выразило крайнее удивление, но в глазах поблескивала хитрая усмешка. — Что вы! Когда мне сказали, что Дриффилды удрали, у меня так ноги и подкосились. Они мне были должны за уголь четыре фунта и семнадцать с половиной шиллингов. Всех нас надули, даже бедного Гэллоуэя — так он и не получил булочку к чаю.

Такого нахальства я не ожидал от Лорда Джорджа. Мне хотелось сказать ему напоследок что-нибудь сокрушительное, но я ничего не мог придумать, а просто сказал, что мне надо идти, и расстался с ним, холодно кивнув на прощанье.

## 11

Перебирая в памяти прошлое в ожидании Элроя Кира, я усмехнулся, когда сравнил этот недостойный эпизод из забытого периода жизни Эдуарда Дриффилда с невероятной респектабельностью его последних лет. Мне пришло в голову: а не потому ли, что в годы моего отрочества окружающие нас люди так мало ценили его как писателя, — не потому ли я никогда не мог увидеть в нем те потрясающие достоинства, которые со временем стала приписывать ему критика?

Его язык долго считали очень плохим, и в самом деле ощущение было такое, будто он писал тупым огрызком карандаша; в его вымученном стиле смешались архаизмы и просторечие, а его персонажи разговаривали так, как не говорит ни один живой человек. Когда он в конце жизни диктовал свои книги, его стиль, приобретя разговорную легкость, стал плавным и водянистым; и тогда критики, вернувшись к произведениям поры его расцвета, нашли, что там язык был сильным, выразительным и колоритным. Расцвет Дриффилда пришелся на ту пору, когда были в моде изящные отрывки, и некоторые описания из его книг попали во все хрестоматии английской прозы. Особенно прославились его картины моря, весны в кентских лесах и заката на Нижней Темзе. Мне следовало бы стыдиться, но, читая их, я всегда испытываю неловкость.

Во времена моей молодости его книги расходились плохо, а одна или две не были допущены в библиотеки; и все же восхищаться им считалось признаком культуры. Его считали смелым реалистом. Это была удобная дубинка для побиения филистеров. Кто-то в приступе вдохновения обнаружил, что его моряки и крестьяне — поистине шекспировские типы, а когда собирались вместе тонко понимающие натуры, их приводил в экстаз сдержанный соленый юмор его деревенских персонажей. На это Эдуард Дриффилд не скупился. Когда он вводил меня в корабельный кубрик или в трактир, у меня падало сердце: я знал, что предстоит полдюжины страниц жаргона с остроумными высказываниями о жизни, этике и бессмертии. Правда, и шекспировские комические герои всегда наводят на меня скуку, а их бесчисленное потомство и вовсе невыносимо.

Сильной стороной Дриффилда, вероятно, было изображение того круга людей, который он знал лучше всего: фермеров и батраков, лавочников и трактирщиков, шкиперов, помощников капитана, коков и матросов. Когда у него появляются персонажи более высокого общественного положения, надо полагать, даже его самым ярым почитателям становится немного не по себе. Его джентльмены так невероятно благородны, его знатные леди так безгрешны, так чисты и возвышенны — неудивительно, что выражаться они могут только очень длинно и с большим достоинством. Женщины в его книгах какие-то неживые. Но и здесь я должен добавить, что это только мое личное мнение; широкая публика и самые видные критики единодушно соглашаются, что это обаятельные примеры английской женственности — жизненные, величавые, великодушные; их часто сравнивали с героинями Шекспира. Конечно, мы знаем, что женщины обычно страдают запором, но изображать их в литературе так, как будто они вовсе лишены заднего прохода, — по-моему, уж чрезмерная галантность. Удивительно, как это может нравиться им самим.

Критики способны заставить мир обратить внимание на очень посредственного писателя; мир может сходить с ума по писателю вовсе недостойному: но в обоих случаях это не может продолжаться долго. Сохранять же популярность столько времени, сколько это удалось Эдуарду Дриффилду, писатель может, надо думать, только если он наделен значительным талантом. Снобы презирают популярность; они даже склонны утверждать, будто это доказательство посредственности; но они забывают, что потомство делает свой выбор не среди неизвестных авторов данного периода, а среди тех, кто пользовался известностью. Может случиться, что появится некий великий шедевр, заслуживающий бессмертия, но, если он увидел свет мертворожденным, потомство о нем так ничего и не узнает. Не исключено, что потомки отправят в макулатуру все наши нынешние бестселлеры, но выбирать им придется все-таки из них. А слава Эдуарда Дриффилда, во всяком случае, не меркнет. Мне его романы кажутся скучными; на мой взгляд, они затянуты; на меня не производят впечатления мелодраматические события, которыми он пытается оживить гаснущий интерес читателя; но что у него есть — так это искренность. В его лучших книгах чувствуется биение жизни, и нет среди них такой, где бы вы не ощутили присутствия загадочной личности автора. Первое время его превозносили или ругали за реализм; критики в зависимости от своих взглядов либо хвалили его за правдивость, либо упрекали в грубости. Но с тех пор реализм перестал вызывать споры, и читатель сейчас легко преодолевает такие препятствия, которые устрашили бы его всего лишь поколение назад.

Те, кто читает эти страницы, может быть, помнят передовую статью в «Таймс литерари сапплмент», появившуюся по случаю смерти Дриффилда. Воспользовавшись его романами в качестве повода, автор воспел настоящий гимн прекрасному. На всякого, кто читал статью, не могли не произвести впечатления ее высокопарные периоды, напоминающие возвышенную прозу Джереми Тейлора, ее благоговение и благочестие, короче, все эти высокие чувства, выраженные стилем, витиеватым без излишеств и нежным без слащавости. Статья была сама по себе исполнена прекрасного. Если же кто-нибудь скажет, что Эдуард Дриффилд был некоторым образом юморист и что в этой хвалебной статье не помешала бы острота-другая, то на это нужно будет возразить, что она представляла собой как-никак надгробное слово. К тому же хорошо известно, что Прекрасное не очень благосклонно к робким авансам Юмора. Когда Рой Кир говорил со мной о Дриффилде, он заявил, что, каковы бы ни были его недостатки, их искупает чувство прекрасного, которым проникнуты его книги. Сейчас, вспоминая наш разговор, я думаю, что именно это замечание меня больше всего возмутило.

Тридцать лет назад в литературных кругах была мода на бога. Вера в него считалась хорошим вкусом, а журналисты пользовались им для украшения слога. Потом мода на бога прошла (как ни странно, вместе с модой на крикет и пиво), и начался культ Пана. В сотнях книг его раздвоенное копытце оставляло след на траве; поэты видели его в сумерках лондонских улиц, а литературные дамы Серрея — эти нимфы индустриального века — загадочным образом лишались невинности в его грубых объятиях и духовно уже не могли стать прежними. Но прошла мода и на Пана, и теперь его место заняло Прекрасное. Его находят в отдельной фразе, в рыбном блюде, в собаке, в погоде, в картине, в поступке, в платье. Когорты молодых женщин, написавших по одной добротной многообещающей повести каждая, щебечут о нем всякая на свой манер — иносказательно или игриво, пылко или очаровательно. А окончившие Оксфорд, но все еще окутанные ореолом его славы молодые люди, которые учат нас на страницах еженедельников, что мы должны думать об искусстве, о жизни и о вселенной, небрежно расшвыривают это слово по убористым страницам своих статей. Оно уже безнадежно изношено — боже мой, как безжалостно его затрепали! Идеал можно называть по-разному, и прекрасное — лишь одно из его имен. Может быть, этот шум вокруг прекрасного — всего лишь крик отчаяния тех, кому не по себе в нашем героическом мире машин, а их тяга к прекрасному, к этой крошке Нелл нынешнего века, стыдящегося своих чувств, не что иное, как сентиментальность? Может быть, следующее поколение, которое лучше приспособится к напряженной современной жизни, будет искать вдохновения не в бегстве от действительности, а в приятии ее?

Не знаю, как другие, но про себя могу сказать, что долго заниматься созерцанием прекрасного не могу. По-моему, ни один поэт не ошибался больше, чем Китс в первой строчке «Эндимиона». Насладившись волшебным ощущением, которое доставило мне нечто прекрасное, я быстро отвлекаюсь; я не верю людям, которые говорят, что могут часами как зачарованные смотреть на какую-нибудь картину. Прекрасное — это экстаз: оно так же просто, как голод. О нем, в сущности, ничего не расскажешь. Оно — как аромат розы: его можно понюхать, и все. Вот почему так утомительны все критические рассуждения об искусстве — если не считать тех, которые не касаются прекрасного и поэтому не имеют отношения к искусству. Все, что может сказать критик по поводу «Положения во гроб» Тициана — картины, которая, может быть, больше всех в мире исполнена чистой красоты, — это посоветовать вам пойти на нее посмотреть. Все остальное, что он скажет, будет или историей, или биографией, или чем-нибудь еще. Но люди связывают с прекрасным другие качества — возвышенность, человечность, нежность, любовь, потому что само прекрасное не может их надолго удовлетворить. Прекрасное — это совершенство, а совершенство (такова уж природа человека) лишь ненадолго задерживает наше внимание. Математик, который, посмотрев «Федру», спросил: «Qu'est ce que ca prouve?»[[4]](#footnote-4) — был не таким уж дураком, как обычно считают. Никто еще не смог объяснить, почему дорический храм в Пестуме более прекрасен, чем стакан холодного пива, если только не привлекать соображений, не имеющих к прекрасному никакого отношения. Прекрасное — это тупик. Это горная вершина, достигнув которой дальше идти некуда. Вот почему нас, в конце концов, больше очаровывает Эль Греко, чем Тициан, несовершенство Шекспира нам ближе, чем безупречность Расина. О прекрасном написано слишком много. Вот почему я написал немного еще. Прекрасное — это то, что удовлетворяет эстетический инстинкт. Но кому нужно полное удовлетворение? Только тупицы считают, что от добра добра не ищут. Будем откровенны: прекрасное немного скучно.

Но все, что писали критики про Эдуарда Дриффилда, было, конечно, сплошной чепухой. Не реализм, придававший жизненность его произведениям, составлял его выдающееся достоинство, не красота, которой они исполнены, не четко очерченные образы мореплавателей, не поэтические описания болот, шторма и штиля или уютных деревушек, — этим достоинством была его долговечность. Уважение к возрасту — одна из самых замечательных человеческих черт, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что ни в одной стране она не проявляется так заметно, как у нас. Другие нации нередко относятся к старости с платоническим почтением и любовью; у нас же это проявляется на практике. Кто, кроме англичан, способен заполнять зал Ковент-Гардена, чтобы послушать престарелую безголосую примадонну? Кто, кроме англичан, готов платить за удовольствие смотреть на таких дряхлых танцоров, что они еле передвигают ноги, да еще говорить друг другу в антракте: «Вот это да; а вы знаете, что ему уже под шестьдесят?» Но в сравнении с политическими деятелями и писателями это просто мальчишки, и мне часто кажется, что jeune-premier,[[5]](#footnote-5) если он не наделен из ряда вон выходящим добродушием, должен с горечью подумывать, что ему в семьдесят лет придется закончить свою карьеру, а общественный деятель и писатель в этом возрасте только входят в самую пору. Сорокалетний политик становится к семидесяти государственным деятелем. Именно в этом возрасте, когда он слишком стар, чтобы быть клерком, или садовником, или полицейским судьей, он созревает для руководства государством. Это не так уж удивительно, если вспомнить, что с самой глубокой древности старики внушают молодым, что они умнее, — а к тому времени, как молодые начинают понимать, какая это чушь, они сами превращаются в стариков, и им выгодно поддерживать это заблуждение. Кроме того, каждый, кто вращался в политических кругах, не мог не заметать, что если судить по результатам, то для управления страной не требуется особых умственных способностей. Но вот почему писатели заслуживают тем большего почета, чем старше они становятся, — это давно приводит меня в недоумение. Одно время я думал, что похвалы, расточаемые им тогда, когда они уже двадцать лет как не написали ничего интересного, объясняются в основном тем, что более молодые люди, уже не боясь их конкуренции, без опаски превозносят их достоинства: хорошо известно, что хвалить человека, соперничество которого вам не грозит, — часто очень хороший способ ставить палки в колеса тому, чьей конкуренции вы опасаетесь. Но это слишком низкое мнение о человеческой природе, а я ни за что на свете не хотел бы навлечь на себя обвинения в дешевом цинизме. По зрелом размышлении я пришел к выводу, что причина всеобщих рукоплесканий, скрашивающих последние годы писателя, который превысил обычную продолжительность человеческой жизни, на самом деле в том, что интеллигентные люди после тридцати лет вовсе ничего не читают. И по мере того, как они стареют, книги, прочитанные ими в молодости, окрашиваются радужными воспоминаниями того времени, и с каждым годом их автору приписываются все большие достоинства. Он, конечно, должен продолжать писать, чтобы не быть забытым публикой. Он не должен думать, что достаточно написать один-два шедевра; он должен подвести под них пьедестал из сорока — пятидесяти книг, не представляющих особого интереса. На это нужно время. Производительность писателя должна быть такой, чтобы оглушить читателя массой, если уж нельзя удержать его интерес качеством.

И если, как я полагаю, долговечность — это тоже гениальность, то мало кто в наше время оказался наделенным ею в такой степени, как Эдуард Дриффилд. Когда он был всего лишь шестидесятилетним юнцом (и просвещенная публика уже с ним покончила), его положение в литературном мире было всего лишь респектабельным; лучшие судьи хвалили его, но умеренно, а молодежь была склонна над ним подтрунивать. Все соглашались, что он не лишен таланта, но никому не приходило в голову, что он — слава английской литературы. Потом он отпраздновал свой семидесятилетний юбилей; литературный мир слегка заволновался — как гладь Индийского океана, когда где-то вдалеке назревает тайфун. Стало очевидно, что все эти годы среди нас жил великий романист, о чем мы и не подозревали. В библиотеках начали хватать его книги, и сотни писак из Блумсбери, Челси и других мест, где собираются литераторы, принялись строчить одобрительные рецензии, исследования, очерки, труды — краткие и легкомысленные или длинные и серьезные — о его романах. Они переиздавались — полными собраниями, избранными произведениями, дешевыми и роскошными изданиями. Его стиль анализировали, его философию изучали, его технику разбирали. В семьдесят пять все единодушно признали Эдуарда Дриффилда гением. К восьмидесяти же он стал Великим Корифеем английской литературы и это положение сохранял до самой смерти.

Теперь мы с грустью видим, что занять его место некому. Есть несколько писателей, которым за семьдесят, — они, очевидно, полагают, что могли бы с удобством расположиться на пустующем троне. Но им явно чего-то не хватает.

Эти воспоминания, которые я так долго излагал, пронеслись передо мной очень быстро. Они шли вперемежку — то какой-нибудь случай, то обрывок предшествовавшего ему разговора, а я расположил их последовательно для удобства читателя и еще потому, что не терплю беспорядка. При этом меня удивило, что я даже в таком отдалении явственно помню, как выглядели люди и даже что они говорили, но очень смутно — как они были одеты. Я, конечно, знаю, что сорок лет назад одежда, особенно женская, сильно отличалась от нынешней, но если я и помню ее, то не по собственным впечатлениям, а по картинам и фотографиям, которые видел много позже.

Я все еще был погружен в эти праздные мысли, когда услышал, как у дверей остановилось такси, раздался звонок, и через секунду послышался раскатистый голос Элроя Кира, который говорил швейцару, что у него со мной назначена встреча. Он вошел — большой, толстый и добродушный, и его энергия в ту же минуту сокрушила хрупкое здание, выстроенное мной из давно ушедшего прошлого. Как неистовый мартовский ветер, он принес с собой агрессивное и неизбежное настоящее.

— Я как раз думал, — сказал я, — кто мог бы сменить Дриффилда в качестве Великого Корифея английской литературы, — и вот вы приехали, чтобы разрешить мое недоумение.

Он весело рассмеялся, но в его глазах мелькнуло подозрение.

— Не думаю, чтобы кому-нибудь это было по плечу, — ответил он.

— А вы сами?

— О мой милый, но мне ведь еще нет пятидесяти. Давайте подождем еще лет двадцать пять.

Он засмеялся снова, но при этом все время смотрел мне в глаза.

— Никогда не могу угадать, разыгрываете вы меня или нет.

Вдруг он опустил взгляд.

— Конечно, иногда думаешь о будущем. Все, кто сейчас на самом верху, лет на пятнадцать — двадцать старше меня. Они не вечны, а кто их заменит? Конечно, есть Олдос; он намного моложе меня, но не очень крепок здоровьем и, по-моему, не очень следит за собой. Если не считать случайностей — то есть если вдруг не объявится какой-нибудь гений, который смешает все карты, то я, пожалуй, лет через двадцать — двадцать пять неизбежно останусь без всяких соперников. Нужно только продолжать работать и пережить всех остальных.

Рой опустился своим могучим телом в кресло моей хозяйки, и я предложил ему виски с содовой.

— Нет, я никогда не пью спиртного раньше шести, — сказал он и оглянулся вокруг. — Занятное у вас жилье.

— Это верно. Так о чем вы хотели со мной поговорить?

— Я думал поболтать с вами об этом приглашении миссис Дриффилд. По телефону довольно трудно все объяснить. Дело в том, что я взялся писать биографию Дриффилда.

— О! Почему вы не сказали сразу?

Я преисполнился к Рою самых дружеских чувств. Было приятно, что я не ошибся в нем, когда заподозрил, что он пригласил меня на обед не просто ради моего общества.

— Я тогда еще не решил. Миссис Дриффилд очень на этом настаивает. Она будет помогать мне чем может. Она предоставляет мне все материалы, какие у нее есть. Она собирала их много лет. Это нелегкое дело, и сделать его кое-как я просто не могу себе позволить. Но если я справлюсь, это принесет мне большую пользу. Люди очень уважают писателя, который время от времени создает что-нибудь серьезное. На свои критические работы я ухлопал много сил, а денег они не принесли никаких, но я ни минуты об этом не жалею. Без них я бы не имел такого положения, какое имею сейчас.

— По-моему, это очень хороший замысел. Последние двадцать лет вы знали Дриффилда ближе, чем кто бы то ни было.

— Да, пожалуй. Но когда мы познакомились, ему было уже за шестьдесят. Я написал ему, как восхищен его книгами, и он пригласил меня к себе. А о раннем периоде его жизни я ничего не знаю. Миссис Дриффилд часто наводила его на разговор об этих временах и подробно записывала, что он говорил. Потом есть дневники, которые он несколько раз принимался вести, и, конечно, многое в его романах явно автобиографично. Но есть огромные пробелы. Я скажу вам, какую книгу я хочу написать; нечто о личной жизни, с множеством тех мелких подробностей, которые, знаете, согревают человека, и все это будет переплетено с исчерпывающим разбором его литературных работ — конечно, не тяжеловесным, но доброжелательным, тщательным и... тонким. Над этим, конечно, придется поработать, но миссис Дриффилд, кажется, думает, что я справлюсь.

— Я уверен, что справитесь, — вставил я.

— А почему бы и нет? — сказал Рой. — Я критик, я писатель. У меня явно есть для этого кое-какие литературные данные. Но у меня ничего не выйдет, если мне не будут помогать все, кто может.

Я начал понимать, зачем я здесь понадобился, но постарался, чтобы на моем лице ничего не отразилось. Рой наклонился ко мне.

— Я тогда спросил вас, не собираетесь ли вы написать сами что-нибудь про Дриффилда, и вы сказали, что нет. Это определенно?

— Конечно.

— Тогда вы не возражаете против того, чтобы предоставить мне свои материалы?

— Но у меня нет никаких материалов!

— Ну, бросьте, — добродушно сказал Рой тоном врача, который уговаривает ребенка открыть ротик. — Когда он жил в Блэкстебле, вы, наверное, много виделись.

— Я был тогда еще мальчишкой.

— Но вы, наверное, чувствовали в нем что-то необычное. В конце концов, каждый, кто общался с Дриффилдом хотя бы полчаса, не мог не видеть, что имеет дело с необыкновенной личностью. Это должен был понять даже шестнадцатилетний мальчик — а вы, вероятно, были более наблюдательны и восприимчивы, чем обычно бывают люди в этом возрасте.

— Не знаю, показалась бы его личность необыкновенной, если бы за ней не стояла его репутация. Как вы думаете, если вы появитесь на морском курорте под видом мистера Аткинса, бухгалтера, приехавшего лечить больную печень, вы произведете на людей впечатление необыкновенной личности?

— Думаю, они скоро поняли бы, что я не просто обычный бухгалтер, — ответил Рой с улыбкой, которая лишила его слова всякого оттенка самодовольства.

— Так вот, я могу сказать вам одно: больше всего меня тогда поразил в Дриффилде ужасно кричащий костюм, который он носил. Мы часто катались на велосипеде, и мне всегда было немного не по себе, когда меня с ним видели.

— Теперь это звучит комично. А о чем он говорил?

— Не знаю. Ни о чем в особенности. Он очень интересовался архитектурой и о сельском хозяйстве говорил, а если попадался какой-нибудь уютный на вид трактир, он обычно предлагал остановиться на пять минут и выпить по стакану пива, а потом болтал с хозяином про урожай, про цены на уголь и все такое.

Я продолжал в том же духе, хотя по лицу Роя было заметно, что он разочарован. Он слушал, но ему было неинтересно; а я обратил внимание, что, когда ему неинтересно, у него становится сердитый вид. Но хоть я и не помнил, чтобы Дриффилд когда-нибудь сказал что-нибудь значительное во время этих наших долгих прогулок, в моей памяти прекрасно сохранились связанные с ними незабываемые ощущения. У Блэкстебла была одна особенность: хотя он стоял на морском берегу между длинным галечным пляжем и прибрежным болотом, но стоило пройти всего с полмили от моря, как вы попадали в самую сельскую местность во всем Кенте. Дороги извивались между обширными плодородными зелеными полями и рощами огромных коренастых вязов, скромно-величавых, как старые добрые кентские фермерши, краснощекие и дюжие, растолстевшие на хорошем масле, домашнем хлебе, сливках и свежих яйцах. А иногда дорога превращалась просто в тропинку между густыми живыми изгородями из боярышника, а с обеих сторон над ней свешивались зеленые вязы, так, что, если посмотреть вверх, видна только узкая полоска голубого неба. Воздух был теплым и свежим, и когда вы ехали по такой тропинке, то казалось, что весь мир застыл неподвижно и что жизнь будет продолжаться вечно. Несмотря на то, что вы энергично работали ногами, вас охватывало восхитительное чувство лени. Лучше всего было, когда все молчали, а если кто-то от полноты чувств вдруг прибавлял ходу и уносился вперед, это всех смешило, и следующие несколько минут мы изо всех сил налегали на педали. Добродушно подтрунивая друг над другом, мы от души смеялись собственным шуткам. Время от времени нам попадались коттеджи с маленькими палисадниками, где росли шток-розы и лилии, а в стороне от дороги стояли фермы с просторными амбарами и сушилками для хмеля; попадались и хмелевые плантации, где гирляндами свисали созревающие шишки. В трактирах было весело и уютно, они почти не отличались с виду от коттеджей, и на крыльце у них часто росла жимолость. Они носили привычные названия: «Веселый матрос», «Веселый пахарь», «Корона и якорь», «Красный лев».

Но все это, конечно, было неинтересно Рою, и он прервал меня.

— А он никогда не говорил о литературе?

— По-моему, нет. Он был не из тех писателей. Вероятно, он думал о своей работе, но никогда о ней не говорил. Он обычно давал нашему помощнику приходского священника почитать книги. Той зимой, во время каникул, я почти каждый день пил у него чай, и иногда они говорили о книгах, но мы всегда это прекращали.

— И вы не помните, что он говорил?

— Только одно. Помню потому, что не читал тех вещей, о которых он говорил, а после этого я их прочел. Он сказал, что если Шекспир когда-нибудь и думал о своих пьесах после того, как вернулся в Стрэтфорд-на-Эйвоне и стал респектабельным, то с самым большим интересом он, вероятно, вспоминал две: «Мера за меру» и «Троила и Крессиду».

— Ну, в этом смысле немного. А он ничего не говорил о более современных писателях, чем Шекспир?

— Нет, тогда — не помню; но, когда я несколько лет назад обедал у Дриффилдов, я слышал, как он сказал, что Генри Джеймс повернулся спиной к одному из величайших событий мировой истории — возникновению Соединенных Штатов, чтобы писать о застольной болтовне в английских поместьях. Дриффилд назвал это «il gran rifiuto». Я удивился, что старик сказал это по-итальянски, и меня позабавило, что, кроме одной чванливой герцогини, никто и не понял, о чем это он. Он сказал: «Бедный Генри, он целую вечность бродит вокруг величественного парка, слишком далеко, так что ему не слышно, что говорит графиня».

Рой внимательно выслушал этот анекдот и задумчиво покачал головой.

— Не думаю, чтобы я смог это использовать. Вся банда поклонников Генри Джеймса кинулась бы на меня, как свора собак... А что вы тогда делали вечерами?

— Ну, играли в вист, пока Дриффилд читал книги, которые присылали на рецензию, а потом он пел.

— Это интересно, — сказал Рой, встрепенувшись. — Вы не помните, что он пел?

— Прекрасно помню. Его любимыми песнями были «И все из-за солдата» и «Заходи, здесь пиво лучше».

— О!

Я видел, что Рой разочарован.

— А вы ожидали, что он будет петь Шумана? — спросил я.

— Почему бы и нет? Это было бы неплохо. Но я скорее думал, что он пел морские песенки или старые английские народные баллады — знаете, в таком роде, как певали на ярмарках слепые скрипачи и деревенские красавцы, пляшущие с девушками на току, и все в таком роде. Из этого я сделал бы что-нибудь изящное. Но я не могу представить себе Эдуарда Дриффилда, распевающего куплеты из оперетт. В конце концов, когда рисуешь портрет человека, нужно иметь определенную точку зрения; если вставлять то, что совершенно выпадает из общего тона, обязательно испортишь все впечатление.

— А вы знаете, что вскоре после этого он смылся, не заплатив долгов?

Рой молчал целую минуту, задумчиво глядя на ковер.

— Да, я знаю, там были кое-какие неприятности. Миссис Дриффилд говорила. Насколько я понимаю, все было выплачено потом, еще до того, как он купил Ферн-Корт и поселился в тех местах. По-моему, нет никакой необходимости напирать на этот случай — ведь он, в сущности, не имел никакого влияния на его творческий путь. В конце концов, это произошло почти сорок лет назад. Знаете, у старика был очень любопытный характер. Кто бы мог подумать, что после такой скандальной истории он, когда прославится, выберет именно окрестности Блэкстебла, чтобы провести остаток своих дней, — особенно если иметь в виду, что здесь он в самых скромных условиях начинал свою жизнь? Но это его ничуть не смущало. Он как будто считал все это занятной шуткой. Он не стеснялся рассказывать об этом гостям за обедом, и миссис Дриффилд чувствовала себя очень неловко. Вам бы надо поближе познакомиться с Эми. Это замечательная женщина. Конечно, старик написал все свои великие книги еще до того, как с ней повстречался, но, по-моему, нельзя отрицать, что тот внушительный и достойный образ, который весь мир знал последние двадцать пять лет, создала она. Она мне откровенно рассказывала, как нелегко это ей далось. У старого Дриффилда были разные странные привычки, и от нее требовался большой такт, чтобы заставить его вести себя прилично. В некоторых вещах он был очень упрям, и я думаю, что менее настойчивая женщина потерпела бы здесь поражение. Эми, например, стоило большого труда отучить его от привычки, доев свое жаркое с подливкой, вытирать тарелку хлебом и съедать его.

— А знаете, что это значит? — спросил я. — Это значит, что долгое время он недоедал и дорожил каждой крошкой.

— Ну, возможно, но ведь такая привычка не очень украшает знаменитого писателя. И потом, он хоть и не был пьяницей, но очень любил заглядывать в «Медведь и ключ» в Блэкстебле и выпивать там по нескольку кружек пива за общей стойкой. Конечно, ничего плохого тут нет, но это привлекало к нему всеобщее внимание, особенно летом, когда в Блэкстебле полно приезжих. Ему было все равно, с кем он разговаривает. Он как будто не понимал, что должен оставаться на высоте своего положения. Согласитесь — было очень неловко, когда он, пообедав с разными интересными людьми — вроде Эдмунда Госса или лорда Керзона, — шел в трактир и рассказывал слесарям, булочникам и санитарным инспекторам, что он об этих людях думает. Ну, это еще, конечно, можно объяснить. Можно сказать, что он искал местный колорит и интересовался человеческими типами. Но были у него и такие привычки, с которыми неизвестно что делать. Знаете ли вы, с каким трудом Эми заставляла его принимать ванну?

— Но он родился в такое время, когда считалось, что слишком часто мыться вредно. Я думаю, до пятидесяти лет он и не жил никогда в таком доме, где была бы ванна.

— Ну да, он говорил, что никогда не мылся чаще, чем раз в неделю, и не собирается в этом возрасте менять свои привычки. Потом Эми настаивала, чтобы он каждый день менял белье, но он и против этого возражал. Говорил, что привык носить рубашку и кальсоны целую неделю и что все это ерунда — от частой стирки они только быстрее изнашиваются. Миссис Дриффилд делала все, что могла, чтобы заставить его принимать ванну каждый день — пробовала заманивать его всевозможными экстрактами и ароматами, но ничто не помогало, а еще позже он не мылся даже и раз в неделю. Она говорила мне, что за последние три года жизни он вообще ни разу не принимал ванну. Все это, конечно, между нами; я просто хочу сказать, что нужен очень большой такт, чтобы писать о его жизни. Приходится призвать, что он не был чересчур щепетилен в денежных делах, и он почему-то находил большое удовольствие в обществе людей ниже себя, и некоторые его привычки были довольно непривлекательны, — но я не думаю, чтобы именно эта сторона была в нем главной. Я не хочу писать неправду, но думаю, что кое о чем лучше не упоминать.

— А не думаете ли вы, что было бы гораздо интереснее не останавливаться на полпути и нарисовать его таким, каким он был?

— О, это невозможно. Эми Дриффилд потом со мной всю жизнь не будет разговаривать. Она попросила меня написать о нем только потому, что уверена в моем благоразумии. Я должен вести себя как джентльмен.

— Очень трудно быть одновременно джентльменом и писателем.

— Нет, почему? И потом вы ведь знаете критиков. Если напишешь правду, они назовут тебя циником, а такая репутация не идет на пользу писателю. Конечно, я не отрицаю, что, если бы отбросить все условности, я мог бы произвести сенсацию. Было бы очень заманчиво показать этого человека с его тягой к прекрасному и с его легкомысленным отношением к своим обязательствам, с его великолепным стилем и острой ненавистью к мылу и воде, с его идеализмом и выпивками в подозрительных заведениях. Но, если говорить честно, разве это окупится? Все скажут только, что я подражаю Литтону Стрэчи. Нет, я думаю, будет лучше написать об этом обиняками, приятно и тонко, знаете, полегче. По-моему, начиная писать книгу, нужно ее сначала увидеть. Так вот, я это вижу, пожалуй, как портрет работы Ван-Дейка — знаете, с таким настроением, и серьезностью, и такой аристократической утонченностью. Понимаете, что я хочу сказать? Тысяч на восемьдесят слов.

Некоторое время он сидел, погруженный в эстетический экстаз. Он уже видел перед собой эту книгу ин-октаво, изящную и нетяжелую, напечатанную с большими полями, на хорошей бумаге, ясным и красивым шрифтом; наверное, он видел и переплет из гладкой черной ткани с золотыми украшениями и буквами. Но Элрой Кир был всего лишь человек, и поэтому он, как я отмечал несколькими страницами ранее, не мог долго предаваться созерцанию прекрасного. Он чистосердечно улыбнулся мне.

— Но как мне ухитриться обойти первую миссис Дриффилд?

— Скелет в шкафу, — пробормотал я.

— Чертовски трудная фигура. Она была замужем за Дриффилдом много лет. У Эми на это очень определенная точка зрения, но я не вижу, как бы я мог ее удовлетворить. Видите ли, она считает, что Рози Дриффилд оказывала на мужа самое вредное влияние и сделала все возможное, чтобы разорить его и погубить морально и физически. Что она была ниже его во всех отношениях, во всяком случае в интеллектуальном и духовном, и он спасся только благодаря огромной силе духа и жизнеспособности. Это, конечно, была очень неудачная пара. Правда, Рози уже много лет как умерла, и не хочется ворошить старые сплетни и стирать у всех на виду грязное белье, но факт остается фактом: самые великие произведения Дриффилд написал, когда жил с ней. Как бы я ни ценил его поздние вещи — а я, как никто, сознаю их подлинные достоинства, в них есть восхитительная сдержанность и какая-то классическая умеренность — и все-таки я признаю, что в них не хватает огонька, живости, аромата и шума жизни, какие есть в ранних книгах. Мне кажется, что нельзя совсем отрицать влияния первой жены на его творчество.

— Ну и что вы собираетесь с этим делать? — спросил я.

— Что ж, я не вижу, почему нельзя было бы рассказать об этой стороне его жизни как можно сдержаннее и деликатнее, чтобы не оскорбить самый щепетильный вкус, и в то же время с этакой мужественной откровенностью — вы меня понимаете? Получилось бы даже трогательно.

— Легко сказать...

— На мой взгляд, вовсе ни к чему ставить все точки над «i». Важно только взять нужный тон. Я бы попробовал писать об этом как можно меньше, но намеками передать все самое существенное, что важно знать читателю. Знаете, самую непристойную тему можно смягчить, если подойти к ней с достоинством. Но я ничего не могу сделать, пока не знаю всех фактов.

— Разумеется, чтобы подать их, нужно их знать.

Рой говорил легко и свободно, как опытный и пользующийся успехом оратор. Мне пришло в голову, что, во-первых, хорошо бы и мне научиться выражать свои мысли так точно и гладко, никогда не подыскивая нужного слова, чтобы фразы катились без малейшей задержки, и что, во-вторых, я был бы очень рад, если бы не чувствовал себя столь плачевно недостойным представлять в своем ничтожном лице обширную и сочувствующую аудиторию, к которой Рой инстинктивно обращался. Но тут он умолк. На его лице, раскрасневшемся от энтузиазма и покрытом испариной от полуденной жары, появилось добродушное выражение, а повелительно сверкавшие глаза смягчились и заулыбались.

— Вот тут вы мне и нужны, — продолжал он дружелюбно.

Я давно уже убедился: если нечего сказать или не знаешь, что ответить, лучше всего промолчать. Не говоря ни слова, я с тем же дружелюбием смотрел на Роя.

— Вы больше всех знаете о его жизни в Блэкстебле.

— Ну, вряд ли. В Блэкстебле, наверное, немало людей, которые виделись с ним тогда не меньше моего.

— Возможно, но ведь это люди незначительные, и вряд ли их мнение так уж существенно.

— А, понимаю. Вы хотите сказать, что только я могу проболтаться?

— Грубо говоря, я имел в виду примерно это, если уж вам так угодно шутить.

Я видел, что моя шутка не позабавила Роя. Я не огорчился: я давно привык к людям, которых мои шутки не смешат. Нередко мне приходит в голову, что самый чистый тип художника — это юморист, который один смеется собственным шуткам.

— И насколько я знаю, потом в Лондоне вы тоже часто его видели.

— Да.

— Это когда он снимал квартиру где-то в Нижней Белгрэвии?

— Ну, не совсем так. Всего лишь комнатку в Пимлико.

Рой сухо улыбнулся.

— Не будем спорить из-за точного адреса. Вы тогда были с ним очень близки.

— Более или менее.

— Сколько времени это продолжалось?

— Год-два.

— Сколько вам тогда было лет?

— Двадцать.

— Так вот, слушайте. Я прошу вас оказать мне большую услугу. Это не займет у вас много времени, а для меня это будет просто неоценимая помощь. Я хотел бы, чтобы вы набросали свои воспоминания о Дриффилде как можно полнее, — все, что вы помните о его жене и их отношениях, и так далее, и про Блэкстебл, и про Лондон.

— Ну, знаете ли, вы просите не так уж мало. У меня сейчас хватает работы.

— Не надо тратить много времени. Вы можете набросать это в самом черновом виде. Не надо думать о стиле и прочем. Стиль я возьму на себя. Мне нужны только факты. В конце концов, вы один их знаете. Я не хочу, чтобы это прозвучало напыщенно, но Дриффилд был великий человек, и ради его памяти и ради английской литературы вы обязаны рассказать все, что вам известно. Я не просил бы вас об этом, но вы тогда говорили, что не хотите ничего о нем писать сами. Не будьте собакой на сене и не держите про себя материал, который вам не нужен.

Так Рой одним махом воззвал к моему чувству долга, к моей лени, к моему великодушию и к моей честности.

— А зачем миссис Дриффилд хочет, чтобы я приехал в гости в Ферн-Корт? — спросил я.

— Мы с ней это обсудили. Там очень хорошо. Она прекрасно принимает гостей, а в это время года за городом божественно. Она подумала, что, если вы согласитесь писать там свои воспоминания, вам будет очень уютно и спокойно; конечно, я сказал, что не могу ей этого обещать, но, естественно, когда вы будете так близко от Блэкстебла, вам будут вспоминаться всякие вещи, которые иначе вы бы забыли. И потом, если вы будете жить в его доме, среди его книг и вещей, прошлое будет казаться гораздо реальнее. Мы могли бы беседовать о нем — знаете, как в разговоре вспоминается то одно, то другое. Эми очень сообразительна и умна. Она в течение многих лет привыкла записывать разговоры Дриффилда, и ведь, очень возможно, вы скажете что-то такое, о чем не стали бы писать, а она потом это запишет. И мы с вами можем играть в теннис и купаться.

— Я не очень люблю жить в гостях, — сказал я. — Терпеть не могу вставать к девятичасовому завтраку и есть, что дадут, даже если не хочу. Не люблю ходить на прогулки и не интересуюсь чужими цыплятами.

— Она сейчас очень одинока. Это была бы большая любезность по отношению к ней и ко мне тоже.

Я задумался.

— Вот что я сделаю. Я поеду в Блэкстебл, но поеду сам по себе. Я поселюсь в «Медведе и ключе», а к миссис Дриффилд буду приходить в гости, пока вы там. Вы можете сколько угодно разговаривать о Дриффилде, а когда мне станет с вами невмоготу, я смогу удрать.

Рой добродушно засмеялся.

— Ладно, годится. И вы будете записывать все, что вспомните и что, по-вашему, может мне пригодиться?

— Попробую.

— Когда вы приедете? Я отправлюсь в пятницу.

— Я поеду с вами, если вы пообещаете не разговаривать со мной по дороге.

— Ладно. Самый удобный поезд — пять десять. Заехать за вами?

— Я способен добраться до вокзала Виктория сам. Встретимся на платформе.

Не знаю — может быть, Рой боялся, что я передумаю, но он тут же встал, сердечно пожал мне руку и ушел. На прощанье он напомнил мне, чтобы я ни в коем случае не забыл теннисную ракетку и купальный костюм.

## 12

Обещание, которое я дал Рою, напомнило мне о первых годах, проведенных мной в Лондоне. Особых дел у меня в тот день не было, и мне пришло в голову пройтись и выпить чаю у своей старой квартирной хозяйки. Миссис Хадсон мне порекомендовал секретарь медицинского училища при больнице св. Луки, когда я, еще зеленым юнцом, только что приехал в город и искал себе квартиру. Ее дом стоял на Винсент-сквер. Я прожил там, в двух комнатах первого этажа, пять лет, а надо мной, в бельэтаже, жил преподаватель вестминстерской школы. Я платил за свои комнаты фунт в неделю, а он — двадцать пять шиллингов. Миссис Хадсон была живая, суетливая женщина маленького роста, с худым лицом, крупным орлиным носом и самыми яркими, самыми жизнерадостными черными глазами, какие я в жизни видел. Свои пышные, очень темные волосы она каждый вечер и каждое воскресенье собирала в пучок на затылке, оставляя на лбу маленькую челку, как можно сейчас видеть на старых фотографиях Джерсейской Лилии.[[6]](#footnote-6) У нее было золотое сердце (хотя тогда я об этом не догадывался, потому что в молодости мы принимаем доброту к себе как должное), а готовила она превосходно. Никто не мог лучше ее сделать omelette souffle.[[7]](#footnote-7) Каждое утро она вставала спозаранку, чтобы затопить камины в гостиных у своих джентльменов: «Не завтракать же им в этом холодище — уж так сегодня морозит!»; и если она не слышала, как вы берете ванну (в плоском жестяном тазу, который задвигался под кровать, а воду в него наливали с вечера, чтобы немного согрелась), то говорила: «Ну, вот, мой второй этаж еще не встал, опять он на лекцию опоздает», поднималась наверх, колотила в дверь и кричала: «Если сейчас же не встанете, не успеете позавтракать, а у меня для вас чудная треска». Работая весь день напролет, она пела за работой и всегда оставалась веселой, счастливой и улыбающейся. Муж ее был гораздо старше. Он был когда-то дворецким в очень хороших домах, носил бакенбарды и имел безупречные манеры; он прислуживал в соседней церкви, где пользовался большим уважением, а дома подавал на стол, чистил обувь и помогал мыть посуду. Передохнуть миссис Хадсон могла только тогда, когда, подав обед (я обедал в половине седьмого, а жилец бельэтажа — в семь), поднималась наверх, чтобы немного поболтать со своими джентльменами. Я очень жалею, что у меня тогда не хватало ума записывать ее разговоры (как Эми Дриффилд записывала разговоры своего знаменитого мужа), потому что миссис Хадсон была наделена великолепным лондонским народным юмором. За словом в карман она не лезла, выражалась живо, словарь ее был обширен, и в нем всегда находилась какая-нибудь смешная метафора или меткое замечание. Она была образцом добропорядочности, никогда не потерпела бы в своем доме женщин («Никогда не знаешь, что у них на уме, вечно мужчины, мужчины, мужчины, и чаи всякие, и дверь открывать приходится, и воду им носи, и не знаю что»), но в разговоре, не моргнув глазом, пользовалась довольно рискованными для того времени выражениями. Про нее можно было сказать то же самое, что она говорила про Мэри Ллойд: «Что мне нравится — с ней не соскучишься. Случается, ходит по самому краешку, ан не соскользнет». От своих шуток миссис Хадсон сама получала большое удовольствие и, по-моему, охотнее разговаривала со своими квартирантами, чем с мужем, потому что он был человек серьезный («Так и должно быть, — говорила она, — он и в процессиях ходит, и на свадьбах бывает, и на похоронах, и все такое») и не питал большой склонности к шуткам. «Я ему что говорю: смейся, пока можно, а то помрешь, похоронят, тогда уж не посмеешься».

Юмор никогда не покидал миссис Хадсон, и история ее вражды с мисс Бьючер, которая сдавала комнаты в доме четырнадцать, была настоящей комической эпопеей, продолжавшейся из года в год. «Она старая сварливая кошка, но, поверьте мне, жаль будет, если господь как-нибудь ее приберет. Хотя что он с ней будет делать, ума не приложу. Немало она меня посмешила в свое время».

У миссис Хадсон были очень плохие зубы, и в течение двух или трех лет она с невероятной комической изобретательностью обсуждала вопрос о том, не стоит ли ей их вырвать и вставить искусственные.

— Я что сказала Хадсону вчера? Он мне: «Да пойди ты вырви их, и дело с концом», — а я ему: «А о чем же мне тогда говорить?»

Я не видел миссис Хадсон уже два или три года. В последний раз я заходил к ней, получив записку, в которой она приглашала меня заглянуть на чашку доброго чая и сообщала: «Хадсон умер, вот уже три месяца в субботу будет, и было ему семьдесят девять лет, а Джордж и Эстер Вам с почтением кланяются». Джордж был ее сын — теперь уже взрослый мужчина, рабочий Вуличского арсенала; мать в течение двадцати лет твердила, что он вот-вот приведет в дом жену. А Эстер была прислуга за все, которую миссис Хадсон наняла незадолго до того, как я с ней расстался, и все еще говорила о ней — «эта моя паршивая девчонка».

Когда я только поселился у миссис Хадсон, ей было порядочно за тридцать, а с тех пор прошло тридцать пять лет — и все равно сейчас, проходя не спеша по Грин-парку, я не допускал и мысли, что ее вдруг не окажется в живых: настолько она стала неотъемлемой частью воспоминаний моей юности. Я спустился по ступенькам, и мне открыла дверь Эстер — теперь уже женщина под пятьдесят и изрядно пополневшая, но в ее застенчиво улыбающемся лице все еще оставалось что-то от легкомыслия той «паршивой девчонки». Когда я вошел в гостиную, миссис Хадсон штопала Джорджу носки и сняла очки, чтобы взглянуть на меня.

— Никак, это мистер Эшенден! И кто бы мог подумать? Эстер, кипит там чайник? Ведь вы выпьете со мной чашечку чаю?

Миссис Хадсон немного отяжелела с тех пор, как я впервые с ней познакомился, и ее движения стали помедленнее, но в волосах ее почти не было седины, а глаза, черные и блестящие, как пуговицы, сверкали весельем. Я сел в ветхое маленькое кресло, обитое коричневой кожей.

— Ну, как дела, миссис Хадсон? — спросил я.

— Да жаловаться не на что — разве что не такая уж я теперь молодая, как была, — отвечала она. — Уж не могу столько делать, как в то время, когда вы тут жили. Теперь я джентльменам не готовлю обед — только завтрак.

— Вы все комнаты сдаете?

— Слава богу, все.

Благодаря возросшим ценам миссис Хадсон теперь получала за комнаты больше, чем в мое время, и, я думаю, жила хотя и скромно, но вполне обеспеченно. Но, конечно, теперь у людей и потребности побольше.

— Вы не поверите, сначала пришлось устроить ванную, потом электричество, а потом вынь да положь им телефон. Не знаю уж, что им еще понадобится.

— Мистер Джордж говорит, не пора ли миссис Хадсон подумать об отдыхе, — сказала Эстер, накрывавшая на стол.

— Не лезь не в свое дело, девчонка, — резко ответила миссис Хадсон. — На кладбище отдохну. Подумайте только — чтобы я жила совсем одна, с Джорджем и Эстер; ведь и поболтать будет не с кем.

— Мистер Джордж говорит, ей надо бы снять домик за городом и жить там одной, — продолжала Эстер, ничуть не смутившись.

— Нечего ко мне приставать с этим загородом. Прошлым летом доктор велел мне поехать за город на шесть недель. Я чуть не померла, поверьте. Этот вечный шум — и птицы все время поют, и петухи кричат, и коровы мычат, просто сил нет. Проживите с мое в тишине и спокойствии — и вы тоже не сможете привыкнуть к такому шуму и крику.

В нескольких домах отсюда проходила Воксхолл-Бридж-роуд, по которой с грохотом и звоном мчались трамваи, ревели грузовики, гудели такси. Но если миссис Хадсон и слышала эти звуки, они были голосом Лондона, который убаюкивал ее, как мать баюкает колыбельной песенкой беспокойного ребенка.

Я оглядел уютную, скромную, небогатую гостиную, где так долго прожила миссис Хадсон, и подумал, нельзя ли что-нибудь для нее сделать. Единственное, что пришло мне в голову, — это граммофон, но я заметил, что он у нее уже есть.

— Что бы вам хотелось иметь, миссис Хадсон? — спросил я.

Она задумчиво поглядела на меня своими блестящими глазами, похожими на бусины.

— Да уж не знаю; разве что, пожалуй, здоровья и сил еще лет на двадцать, чтобы я могла и дальше работать...

Я как будто не сентиментален, но, услышав этот неожиданный, хотя и такой характерный для нее ответ, я почувствовал, что у меня к горлу подступил комок.

Когда пришло время уходить, я спросил, нельзя ли посмотреть комнаты, где я прожил пять лет.

— Эстер, сбегай наверх, посмотри, дома ли мистер Грэхем. Если его нет, конечно, можно их посмотреть.

Эстер поспешила наверх, тут же, слегка запыхавшись, вернулась и сказала, что мистера Грэхема дома нет. Миссис Хадсон пошла со мной. В спальне стояла та же самая узкая железная кровать, на которой я спал и предавался грезам, и тот же комод, и тот же умывальник. Но в гостиной царил мрачновато-мужественный спортивный дух: на стенах висели фотографии крикетных команд и гребцов в шортах, в углу стояли клюшки для гольфа, а на каминной полке были разбросаны трубки и кисеты, украшенные гербом колледжа. В мое время мы верили в искусство ради искусства, и это воплотилось в том, что я задрапировал каминную полку мавританским ковром, повесил саржевые занавески ядовито-зеленого цвета и увешал стены автотипиями картин Перуджино, Ван-Дейка и Гоббемы.

— Была у вас склонность к искусству, а? — заметила миссис Хадсон не без иронии.

— Да, изрядная, — пробормотал я.

Я не мог не почувствовать горечь, подумав о годах, прошедших с тех пор, как я жил в этой комнате, и обо всем, что было со мной за это время. Вот за этим столом я съедал свой обильный завтрак и скудный обед, читал свои медицинские книги и писал свой первый роман. Вот в этом кресле я впервые прочел Вордсворта и Стендаля, елизаветинских драматургов и русских романистов, Гиббона, Босуэлла, Вольтера и Руссо. «Кто сиживал здесь после меня? — подумал я. — Студенты-медики, клерки, молодежь, пробивающая себе дорогу в Сити, и пожилые люди, вернувшиеся из колоний или неожиданно выброшенные в мир крахом старого дома?» Что-то в этой комнате было такое, от чего у меня, как сказала бы миссис Хадсон, мурашки по спине забегали. Все надежды, которые здесь рождались, все светлые видения будущего, страсти молодости, сожаления, разочарования, усталость, смирение — так много было перечувствовано здесь столь многими людьми, что этот обширный мир человеческих эмоций, казалось, придал комнате какую-то загадочную индивидуальность. Не знаю почему, но мне представилась некая женщина, которая стоит на распутье, оглядываясь назад и держа палец на губах, а другой рукой манит вперед. Эти смутные чувства передались и миссис Хадсон, потому что она усмехнулась и характерным жестом потерла свой длинный нос.

— Ну и занятные же люди, — сказала она. — Вспомнить только всех джентльменов, что тут у меня жили, — вы бы не поверили, если бы я вам о них кое-что рассказала. Один чуднее другого. Иногда лежу в кровати, думаю о них и смеюсь. Конечно, совсем никуда не годился бы этот мир, если бы не над чем было посмеяться, но, боже мой, жильцы — это уж чересчур!

## 13

Я прожил у миссис Хадсон года два, прежде чем снова повстречался с Дриффилдами. Жизнь я вел очень размеренную, весь день проводил в больнице, а около шести возвращался пешком на Винсент-сквер. У Ламбетского моста я покупал «Стар» и читал, пока мне не подавали обед. Потом я час или два занимался серьезным чтением, потому что был старательным, вдумчивым и трудолюбивым молодым человеком, а потом писал романы и пьесы, пока не приходило время ложиться спать. Не знаю, почему в тот день, в конце июня, рано освободившись в больнице, я решил пройтись по Воксхолл-Бридж-роуд. Я любил шумную суматоху этой улицы. Ее грязноватая жизнерадостность приятно возбуждала — возникало чувство, что вот-вот, в любую минуту, с вами может произойти какое-нибудь приключение. Я шагал, погруженный в раздумье, и вдруг услышал, как кто-то меня окликнул. Я остановился — и, к своему изумлению, увидел перед собой улыбающуюся миссис Дриффилд.

— Не узнаете? — вскричала она.

— Ну что вы, конечно, миссис Дриффилд!

И хотя я был уже взрослый, я почувствовал, что краснею, как будто мне шестнадцать лет. Я растерялся. С моими — увы! — вполне викторианскими представлениями о честности я был очень шокирован поведением Дриффилдов, сбежавших из Блэкстебла, не заплатив долгов. Это казалось мне весьма непорядочным. Я глубоко переживал тот стыд, который, по моему мнению, должны были испытывать они, и был поражен, что миссис Дриффилд способна разговаривать с человеком, который знает об этом позорном случае. Если бы я заметил ее приближение, я бы отвернулся, предполагая, что она захочет избежать унизительной встречи со мной; но она протянула мне руку с явной радостью.

— Как я рада видеть живую душу из Блэкстебла, — сказала она. — Вы же знаете, мы уезжали оттуда в такой спешке.

Она засмеялась, и я тоже; но ее смех был веселым и детски радостным, а мой, я это чувствовал, — несколько напряженным.

— Я слышала, там был большой шум, когда узнали, что мы смылись. Тед чуть не помер со смеху, когда ему об этом рассказывали. Что говорил ваш дядюшка?

Я быстро взял нужный тон. Мне не хотелось, чтобы она приняла меня за человека, лишенного чувства юмора.

— Ну, вы же знаете, он так старомоден.

— Да, вот этим и плох Блэкстебл. Нужно было их расшевелить. — Она дружелюбно взглянула на меня. — А вы здорово выросли с тех пор, как я вас видела. И даже усы отрастили!

— Да, — ответил я, закрутив их, насколько позволяла длина. — Уже давным-давно.

— Как летит время, правда? Четыре года назад вы были совсем мальчик, а теперь — настоящий мужчина.

— Ну, конечно, — ответил я с некоторым высокомерием. — Мне ведь почти двадцать один.

Я посмотрел на миссис Дриффилд. На ней была очень маленькая шляпка с перьями и светло-серое платье с пышными рукавами и длинным треном. На мой взгляд, выглядела она шикарно. Я всегда думал, что у нее очень милое лицо, но тут впервые заметил, что она просто красавица. Ее глаза были еще синее, чем мне помнилось, а кожа — как слоновая кость.

— Знаете, мы живем тут за углом, — сказала она.

— И я тоже.

— Мы живем на Лимпус-роуд. Мы тут почти с самого отъезда из Блэкстебла.

— Ну, а я живу на Винсент-сквер уже почти два года.

— Я знала, что вы в Лондоне. Мне сказал Джордж Кемп, и я часто думала, где же вы. Вы не проводите меня домой? Тед будет очень рад вас видеть.

— С удовольствием, — ответил я.

По дороге она рассказала, что Дриффилд теперь стал редактором литературного отдела одного еженедельника; его последняя книга прошла гораздо лучше всех остальных, и он надеялся получить изрядный аванс под следующую. Казалось, она знает почти все блэкстеблские новости, и я вспомнил, что в содействии их бегству подозревали Лорда Джорджа. Я догадался, что он время от времени им пишет. Я заметил, что встречные мужчины иногда заглядываются на миссис Дриффилд, и мне пришло в голову, что они, наверное, тоже считают ее красавицей. Я шел очень важный.

Лимпус-роуд, длинная, широкая, прямая улица, идет параллельно Воксхолл-Бридж-роуд. Дома на ней все одинаковые — оштукатуренные, выкрашенные в блеклые цвета, солидные, с внушительными портиками. Вероятно, когда-то они строились для людей с положением в лондонском Сити, но улица или потеряла свою респектабельность, или же так и не привлекла нужных жильцов, и теперь какая-то потертая на вид, выглядит так, будто робко прячется от посторонних взглядов и в то же время втихомолку предается разгулу, — как человек, который видел лучшие времена и теперь любит слегка под хмельком разглагольствовать о том, какое высокое положение прежде занимал.

Дом, где жили Дриффилды, был выкрашен в тускло-красный цвет. Миссис Дриффилд ввела меня в узкий темный коридор, отворила дверь и сказала:

— Входите. Я скажу Теду, что вы здесь.

Она пошла дальше по коридору, а я вошел в гостиную. Дриффилды занимали полуподвальный и первый этажи дома, которые снимали у дамы, жившей наверху. Комната, куда я вошел, выглядела так, будто ее обставили всякой всячиной, купленной на распродажах. Тут были тяжелые бархатные занавеси с длинной бахромой, все в сборках и фестонах, и позолоченный гарнитур, обитый желтым шелком, с множеством пуговиц, а посередине комнаты — огромный пуф. В позолоченных шкафчиках со стеклянными дверцами стояло множество мелочей — фарфор, фигурки из слоновой кости, деревянные резные украшения, индийская бронза; на стенах висели большие картины маслом, изображавшие шотландские долины, оленей и охотников.

Через минуту миссис Дриффилд привела мужа, и он радостно со мной поздоровался. На нем был поношенный альпаковый сюртук и серые брюки; бороду он сбрил, оставив только эспаньолку и усы. Я впервые заметил, как он мал ростом; но выглядел он достойнее, чем раньше. Что-то в нем напоминало иностранца — я подумал, что для писателя он выглядит очень солидно.

— Ну, что вы думаете о нашем новом пристанище? — спросил он. — Богато выглядит, правда? По-моему, это внушает доверие.

Он с довольным видом огляделся.

— А там, дальше, у Теда есть кабинет, где он может писать, а внизу у нас столовая, — сказала миссис Дриффилд. — Мисс Каул много лет была компаньонкой одной титулованной дамы и когда та умерла, то оставила ей свою мебель. Видите, какое здесь все добротное, правда? Сразу видно, что это из дома джентльмена.

— Рози влюбилась в эту квартирку, как только ее увидела, — сказал Дриффилд.

— Да, и ты тоже, Тед.

— Мы так долго жили в стесненных обстоятельствах; для разнообразия приятно пожить в роскоши. Мадам Помпадур, и все такое.

Когда я уходил, меня радушно пригласили приходить еще, сказав, что они принимают каждую субботу после обеда и к ним заглядывают всякие люди, с которыми мне будет интересно встретиться.

## 14

Я пришел. Мне понравилось. Я опять пришел. Осенью, вернувшись в Лондон на занятия, я стал заходить сюда каждую субботу. Здесь я знакомился с миром литературы и искусства. Я держал в строгом секрете то, что дома сам много писал; мне было очень интересно встречаться с людьми, которые тоже пишут, и я слушал их разговоры как зачарованный. Всякие люди приходили сюда: в те времена редко кто ездил по выходным за город, над гольфом еще смеялись, и в субботу после обеда почти всем было нечего делать. Не думаю, чтобы к Дриффилдам ходили по-настоящему крупные фигуры; во всяком случае, из всех художников, писателей и музыкантов, которых я здесь встречал, не могу припомнить ни одного, чья репутация выдержала бы испытание временем; но общество собиралось образованное и живое. Здесь можно было встретить молодых актеров, мечтавших получить роль, и пожилых певцов, жалующихся на немузыкальность англичан; композиторов, которые исполняли свои произведения на маленьком пианино Дриффилдов, шепотом приговаривая, что по-настоящему это звучит только на большом концертном рояле; поэтов, которые после больших уговоров соглашались прочесть одну только что написанную вещичку, и художников, которые сидели без заказов. Время от времени обществу придавала некоторый блеск какая-нибудь титулованная персона; правда, это бывало редко: в те дни аристократия еще не увлекалась богемной жизнью, и если какая-нибудь высокопоставленная особа и появлялась в обществе художников, то обычно потому, что из-за скандального развода или карточных осложнений жизнь в собственной среде становилась для нее (или для него) не совсем приятной. Теперь мы все это изменили. Одним из самых больших благодеяний, какие принесло с собой обязательное образование, стало широкое распространение занятий литературой среди высших кругов и дворянства. Когда-то Хорэс Уолпол составил «Каталог писателей королевской и благородной крови»; в наши дни такой труд оказался бы размером с энциклопедию. Титул, даже благоприобретенный, может прославить чуть ли не любого писателя, и можно смело утверждать, что нет лучшего пропуска в мир литературы, чем благородное происхождение.

Иногда мне даже приходило в голову, что теперь, когда палата лордов неизбежно будет вскоре распущена, было бы неплохо законом закрепить литературные занятия за ее членами, их женами и детьми. Это будет щедрая компенсация пэрам со стороны британского народа за их отказ от наследственных привилегий. Она станет средством к жизни для тех (слишком многих), кого разорила приверженность к общественной деятельности, то есть к содержанию хористок, скаковых лошадей и к игре в железку, и приятным занятием для остальных, кто в ходе естественного отбора стал не годным ни на что иное, кроме управления Британской империей. Но наш век — век специализации, и если мой проект будет принят, то ясно, что к еще большей славе английской литературы послужит закрепление различных жанров за определенными кругами высшего общества. Поэтому я предложил бы, чтобы более скромными видами литературы занималась знать помельче, а бароны и виконты посвятили себя исключительно журналистике и драме. Художественная проза могла бы стать привилегией графов. Они уже доказали свои способности к тому нелегкому искусству, а число их столь велико, что им вполне по плечу удовлетворить спрос. Маркизам можно смело оставить ту часть литературы, которая известна (я так и не знаю почему) под названием belle lettres.[[8]](#footnote-8) Она, может быть, и не столь прибыльна с денежной точки зрения, но ей свойственна некоторая возвышенность, вполне соответствующая этому романтическому титулу.

Вершина литературы — поэзия. Это ее цель и завершение, это самое возвышенное занятие человеческого разума, это олицетворение прекрасного. Прозаик может лишь посторониться, когда мимо него идет поэт: рядом с ним лучшие из нас превращаются в ничто. Ясно, что писание стихов должно быть предоставлено герцогам, и их права хорошо бы защитить самыми суровыми законами: нельзя допускать, чтобы этим благороднейшим из искусств занимался кто бы то ни было, кроме благороднейших из людей. А так как и здесь должна одержать верх специализация, то я предвижу, что герцоги (как преемники Александра Македонского) разделят царство поэзии между собой, и при этом каждый ограничится тем аспектом, в котором он сильнее всего благодаря влиянию наследственности и естественным склонностям. Например, я вижу герцогов Манчестерских, пишущих морально-дидактические поэмы; герцогов Вестминстерских, сочиняющих вдохновенные оды Долгу и Ответственности Империи; в то время как герцоги Девонширские, скорее всего, будут писать любовную лирику и элегии в духе Проперция, а герцоги Мальборо почти неизбежно в идиллических тонах воспоют такие темы, как семейное счастье, воинскую повинность и довольство своим скромным положением.

Но если вам покажется, что все это чересчур серьезно, и вы напомните мне, что муза не всегда ступает только величественной поступью, но иногда изящно и легко пританцовывает; если, вспомнив мудреца, сказавшего, что не важно, кто предписывает нации законы, а важно, кто пишет для нее песни, вы спросите меня (справедливо полагая, что это не подобает герцогам), кто же будет играть на тех струнах лиры, которых иногда жаждет разносторонняя и непостоянная душа человеческая, — то я отвечу (по-моему, это очевидно): герцогиня! Я считаю, что прошли те дни, когда влюбленные пейзане Романьи пели своим возлюбленным строфы Торквато Тассо, а миссис Хамфри Уорд напевала над кроваткой маленького Арнольда отрывки из «Эдипа в Колоне». Наш век требует чего-то более современного. Поэтому я предлагаю, чтобы наиболее положительные герцогини-домоседки слагали нам гимны и колыбельные, а те, кто порезвее, кто склонен смешивать виноградную лозу с клубникой, должны писать тексты для музыкальных комедий, юмористические стишки для газет и стихотворные пожелания для рождественских открыток и хлопушек. Этим они сохранят в сердцах британской публики то место, которое до сих пор удерживали лишь благодаря своему высокому положению.

На этих субботних вечерах я, к своему большому удивлению, обнаружил, что Эдуард Дриффилд пользуется известностью. Он написал около двадцати книг и хотя получил за них всего лишь жалкие гроши, но приобрел довольно прочную репутацию. Его книгами восхищались лучшие ценители, а друзья, приходившие к нему в гости, единогласно утверждали, что его вот-вот ждет признание. Они ругали публику, неспособную заметить великого писателя, и поскольку для человека самый легкий способ возвыситься — это давать пинки ближнему, то они поносили всех романистов, чья слава в тот момент затмевала Дриффилда. Если бы я знал тогда о литературных кругах столько, сколько знаю сейчас, я по нередким визитам миссис Бартон Траффорд должен был бы догадаться, что близится час, когда Эдуард Дриффилд ринется вперед, как бегун на длинной дистанции, который внезапно отрывается от кучки остальных спортсменов.

Признаюсь, что, когда меня впервые познакомили с этой дамой, ее имя для меня ничего не значило. Дриффилд сказал ей, что я его молодой деревенский сосед, студент-медик. Она удостоила меня медоточивой улыбки, пробормотала что-то про Тома Сойера и, взяв предложенный мной бутерброд, продолжала говорить с хозяином. Но я заметил, что ее прибытие произвело большое впечатление и что разговоры, до того шумные и веселые, поутихли. Спросив вполголоса, кто она такая, я убедился, что мое невежество поразительно: как мне сказали, она «создала» такого-то и такого-то. Через полчаса она встала, весьма благосклонно пожала руки тем, с кем была знакома, и с нежным изяществом выпорхнула из комнаты. Дриффилд проводил ее до двери и посадил в экипаж.

Миссис Бартон Траффорд тогда было лет пятьдесят. Она была небольшого роста, хрупкая, но с довольно крупными чертами лица, из-за которых ее голова казалась непомерно большой по сравнению с телом. Курчавые светлые волосы она причесывала, как Венера Милосская, и, вероятно, в молодости была очень красива. Одета она была скромно, в черный шелк, а на шее носила бренчащие бусы из бисера и раковин. Говорили, что в молодости она неудачно вышла замуж, но теперь уже много лет живет в счастливом супружестве с Бартоном Траффордом, чиновником министерства внутренних дел и известным авторитетом по первобытному человеку. Она производила странное впечатление, как будто ее тело лишено костей; казалось, что если ущипнуть ее за ногу (что сделать, разумеется, никогда мне не позволило бы уважение к ее полу и какое-то спокойное достоинство ее поведения), то пальцы сомкнутся. Здороваясь с ней, вы как будто брали в руку кусок рыбного филе. И даже ее лицо, несмотря на крупные черты, было какое-то бесформенное. Когда она сидела, можно было подумать, что у нее нет хребта, а вместо этого она, как дорогая подушка, набита лебяжьим пухом.

Вся она была какая-то мягкая: и голос, и улыбка, и смех; ее глаза, маленькие и светлые, отличались нежностью цветка; ее манеры были приятны, как летний дождь. Это необыкновенное и очаровательное свойство и делало ее такой замечательной подругой. Именно этим она завоевала свою славу, которой теперь наслаждалась. Все знали о ее дружбе с великим романистом, чья смерть несколько лет назад так потрясла англоязычную публику. Каждый читал бесчисленные письма, которые он ей писал и которые ее уговорили опубликовать вскоре после его кончины. На каждой странице сквозило восхищение ее красотой и уважение к ее мнению; у него не хватало слов, чтобы отблагодарить ее за поддержку, за сочувствие, за такт, за вкус; и если кое-какие из его страстных выражений, по мнению отдельных лиц, могли вызвать у мистера Бартона Траффорда совершенно недвусмысленные чувства, то это только увеличивало интерес к книге. Но мистер Бартон Траффорд был выше вульгарных предрассудков (подобное несчастье — если это можно назвать несчастьем — величайшие исторические персонажи переносят с философским спокойствием) и, оставив свои исследования ориньякских кремней и неолитических топоров, согласился написать «Биографию» покойного романиста, где вполне определенно показал, какой существенной частью своего таланта тот был обязан благотворному влиянию его жены.

Но интерес к литературе, страсть к искусству не могли покинуть миссис Бартон Траффорд лишь потому, что ее друг, для которого она так много сделала, стал при ее немалом содействии частью истории. Она была большая любительница чтения. От нее не ускользало почти ничто из заслуживающего внимания, и она быстро устраивала себе знакомство с каждым молодым писателем, подававшим надежды. Теперь, особенно после появления «Биографии», ее слава была такова, что она могла быть уверена: никто не может отвергнуть ее симпатии. Конечно же ее талант к дружбе неизбежно должен был рано или поздно найти себе какое-нибудь применение. Когда что-то из прочитанного ей нравилось, мистер Бартон Траффорд, сам неплохой критик, посылал автору теплое письмо и приглашал его на обед, а после обеда, спеша в министерство внутренних дел, оставлял автора поболтать с миссис Бартон Траффорд. Такие приглашения получали многие. У каждого из них было что-то, но этого «чего-то» было недостаточно. Миссис Бартон Траффорд обладала чутьем, которому она доверяла; и это чутье велело ей повременить.

Она была настолько осторожна, что даже чуть не прохлопала Джаспера Гиббонса. Из истории мы знаем о писателях, которые прославились за одну ночь, но в наши более рассудительные дни об этом что-то не слышно. Критики норовят подождать, пока не убедятся, куда подует ветер, а публику столько раз обводили вокруг пальца, что теперь она предпочитает не рисковать. Но как раз Джаспер Гиббонс совершил восхождение на вершину славы с необыкновенной быстротой. Теперь, когда он совершенно забыт, а критики, превозносившие его, рады были бы проглотить свои слова, если бы они не были запечатлены в подшивках бесчисленных газет, — трудно поверить, какую сенсацию произвел первый том его стихотворений. Самые важные газеты отвели рецензиям на него не меньше места, чем репортажу о боксерском матче; самые влиятельные критики, толпясь и толкаясь, спешили его приветствовать. Они уподобляли его Мильтону (за звучность его белого стиха), Китсу (за сочность его чувственных образов) и Шелли (за легкость фантазии); и, пользуясь им как палкой для побиения наскучивших идолов, они отвесили во имя его немало звучных шлепков по тощим ягодицам лорда Теннисона и несколько увесистых плюх по лысой макушке Роберта Браунинга. Публика пала, как стены Иерихона. Выпускалось издание за изданием; изящные томики Гиббонса можно было увидеть в будуаре графини в Мэйфере, в гостиной священника от Уэльса до Шотландии и в салонах многих честных, но образованных торговцев Глазго, Эбердина и Белфаста. Когда стало известно, что сама королева Виктория приняла преподнесенный ей верноподданным издателем экземпляр книги в специальном переплете и в обмен подарила ему (издателю, не поэту) экземпляр «Страниц из шотландского дневника», восторгу нации не было предела.

Все это произошло как будто во мгновение ока. В Греции семь городов оспаривали честь быть родиной Гомера, и хотя место рождения Джаспера Гиббонса (Уолсолл) было хорошо известно, но семью семь критиков претендовали на честь открытия его таланта; видные ценители литературы, вот уже двадцать лет певшие друг другу панегирики в еженедельниках, затеяли из-за него такую ссору, что один даже перестал здороваться с другим, встречая его в «Атенеуме». Гиббонса поспешило признать и высшее общество. Его приглашали на обеды и чаепития вдовствующие герцогини, супруги членов кабинета и вдовы епископов. Говорят, что первым литератором, допущенным в английское общество на правах равного, был Гаррисон Эйнсуорт (и меня время от времени удивляет, почему ни один предприимчивый издатель не воспользуется этим, чтобы выпустить полное собрание его сочинений); но Джаспер Гиббонс был, по-моему, первым поэтом, чье имя в списке приглашенных звучало так же заманчиво, как имя оперного солиста или чревовещателя.

В результате миссис Бартон Траффорд опоздала поднять целину — об этом не могло быть и речи. Ей пришлось вступить в открытую борьбу. Не знаю уж, к какой гениальной стратегии она была вынуждена прибегнуть, какие пришлось ей проявить чудеса такта, нежности, утонченной симпатии и скрытой лести: могу лишь теряться в догадках и восхищаться. Но она заполучила Джаспера Гиббонса, и очень скоро он уже повиновался каждому движению ее нежной ручки. Она была восхитительна. Она устраивала обеды, на которых он мог встретиться с нужными людьми; она давала приемы, где он читал свои стихи в присутствии первых знаменитостей Англии; она знакомила его с прославленными артистами, которые заказывали ему пьесы; она следила за тем, чтобы его произведения печатались только в достойных журналах; она договаривалась с издателями и устраивала для него такие контракты, которые ошеломили бы и министра; она заботилась о том, чтобы он принимал только те приглашения, которые она одобряла; она даже не поленилась развести его с женой, с которой он счастливо прожил десять лет, потому что поэт, по ее убеждению, должен быть свободен, а его талант не обременен семейными узами. И когда случилась катастрофа, миссис Бартон Траффорд могла бы, если бы пожелала, сказать, что сделала для него все возможное.

Но катастрофа пришла. Джаспер Гиббонс издал второй томик стихов. Он был ничуть не лучше и не хуже первого, он был очень похож на первый. К нему отнеслись уважительно, но не без оговорок; некоторые критики даже позволили себе кое-какие придирки. Книга не принесла ни успеха, ни денег. И к несчастью, Джаспер Гиббонс оказался склонен попивать. Он не привык иметь столько денег, не привык к такому обилию развлечений и увеселений, а может быть, ему недоставало его простой, скромной женушки. Раз-другой он появился на обеде у миссис Бартон Траффорд в таком состоянии, какое человек, не наделенный ее светскостью и простодушием, мог бы назвать «пьяным до бесчувствия». Она же кротко говорила гостям, что наш бард сегодня не в ударе.

Третья его книга потерпела провал. Критики растерзали его на части, топтали ногами и, если можно процитировать здесь одну из любимых песенок Эдуарда Дриффилда, «швыряли по углам и валяли по столам». Они испытывали вполне понятную досаду от того, что приняли бойкого стихоплета за бессмертного поэта, и решили наказать его за свою ошибку. Потом Джаспера Гиббонса арестовали на Пикадилли за появление в пьяном виде и нарушение общественного порядка, и мистеру Бартону Траффорду пришлось в полночь отправиться на Вайн-стрит, чтобы взять его на поруки.

При таком положении вещей миссис Бартон Траффорд вела себя великолепно. Она не роптала. Ни одно резкое слово не слетело с ее уст. Можно было бы простить, если бы она была немного обижена на человека, для которого столько сделала и который так ее подвел. Но она оставалась нежной, ласковой и чуткой. Она все понимала. Она бросила его, но не так, как бросают раскаленный кирпич или горячую картофелину. Это было сделано с бесконечной мягкостью, столь же тихо, как катились по ее щекам слезы, которые она, без сомнения, пролила, когда приняла решение поступить столь противно своему характеру. Она бросила его с таким тактом, с таким благоразумием, что Джаспер Гиббонс, возможно, даже и не понял, что его бросили. Но в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Ничего плохого она про него не говорила, даже вообще не хотела о нем говорить и, когда о нем заходил разговор, просто улыбалась чуть грустной улыбкой и вздыхала. Но ее улыбка была для него coup de grace,[[9]](#footnote-9) а ее вздох — камнем на его могилу.

Миссис Бартон Траффорд слишком искренне любила литературу, чтобы позволить себе долго огорчаться из-за такой неудачи; и каким бы сильным ни было ее разочарование, она была слишком бескорыстна, чтобы те сокровища такта, симпатии и понимания, которыми ее наделило небо, могли пропадать втуне. Она продолжала вращаться в литературных кругах, посещать чаепития, приемы и вечера, всегда очаровательная, нежная, внимательная, но при этом осторожная, бдительная и преисполненная решимости в следующий раз, если можно так грубо выразиться, поставить на победителя. Вот тогда-то она и встретила Эдуарда Дриффилда и составила себе благоприятное мнение о его способностях. Правда, он был немолод, но тем меньше было шансов, что он, как Джаспер Гиббонс, не выдержит бремени славы. Она предложила ему свою дружбу. Он не мог не растрогаться, когда она со свойственной ей мягкостью сказала ему, что это просто безобразие, когда столь замечательные произведения остаются достоянием лишь узкого круга. Он был польщен. Каждому приятно услышать, что он гений. Она сказала ему, что Бартон Траффорд подумывает, не написать ли о нем серьезную статью для «Куортерли ревью». Она пригласила его на обед, чтобы он встретился с людьми, которые ему могут пригодиться. Она хотела, чтобы он познакомился с равными себе по уму. Время от времени она прогуливалась с ним по набережной, беседуя о поэтах прошлого, о любви и дружбе, и пила с ним чай в кафе-кондитерской. Когда миссис Бартон Траффорд появилась в субботу днем на Лимпус-стрит, она выглядела как царица пчелиного улья, готовящаяся в свой свадебный полет.

С миссис Дриффилд она вела себя безупречно, была любезна, но не снисходительна, всегда очень мило благодарила за разрешение зайти в гости и говорила комплименты. Расхваливая ей Эдуарда Дриффилда и объясняя с оттенком зависти в голосе, какая честь — наслаждаться обществом столь великого человека, она делала это исключительно по доброте сердечной, а не потому, что прекрасно знала: ничто сильнее не раздражает жену литератора, чем лестные отзывы о нем, исходящие от другой женщины. Разговаривая с миссис Дриффилд, она выбирала темы попроще, которые могли быть для нее интересны: говорила о хозяйстве, о слугах, о здоровье Эдуарда, о том, какая ему нужна забота. Миссис Бартон Траффорд вела себя с ней в точности так, как следовало женщине из очень хорошей шотландской семьи (каковой она и была) вести себя с бывшей буфетчицей, на которой угораздило жениться видного писателя: она была сердечна, игрива и старалась, чтобы миссис Дриффилд чувствовала себя с ней свободно.

И все-таки Рози почему-то терпеть ее не могла; миссис Бартон Траффорд была, насколько я знаю, единственным человеком, которого она не любила. В те годы даже буфетчицы не злоупотребляли «чертями» и «проклятьями», которые сейчас составляют неотъемлемую часть словаря самых благовоспитанных молодых дам, и я никогда не слыхал от Рози ничего такого, что могло бы шокировать мою тетю Софи. Когда кто-нибудь рассказывал при ней сомнительный анекдот, она краснела до ушей. Но миссис Бартон Траффорд она называла не иначе, как «эта проклятая старая кошка». Ближайшим друзьям Рози стоило величайших трудов уговорить ее вести себя с ней вежливо. «Не дури, Рози», — говорили они. Все звали ее «Рози», и скоро я тоже, хоть и очень робко, начал так ее звать. — «Она может сделать ему карьеру, если захочет. Он должен к ней подлизываться. Она все может».

Хотя большинство субботних гостей появлялось у Дриффилдов раз в две-три недели, небольшая компания, в которую входил и я, бывала у них почти еженедельно. Мы составляли костяк собиравшегося здесь общества, приходили рано и оставались допоздна. И самыми верными из всех были Квентин Форд, Гарри Ретфорд и Лайонел Хильер.

Квентин Форд был коренастый человек с прекрасной головой того типа, который впоследствии одно время вошел в моду в кино: прямой нос, красивые глаза, коротко стриженные седые волосы и черные усы; будь он на четыре-пять дюймов выше, он выглядел бы классическим злодеем из мелодрамы. Мы знали, что у него «очень хорошие связи» и он богат; единственное его занятие составляло поощрение искусств. Он посещал все премьеры и все закрытые вернисажи, отличался требовательностью знатока и питал к произведениям своих современников вежливое, но огульное презрение. Как я обнаружил, к Дриффилдам он ходил не потому, что Эдуард гений, а потому, что Рози — красавица.

Теперь, вспоминая об этом, я не перестаю удивляться, что не видел столь очевидных вещей, пока меня не тыкали в них носом. Когда я впервые с ней познакомился, мне и в голову не пришло подумать о том, хороша она собой или дурна, а когда пять лет спустя, снова увидев ее, я впервые заметил, что она очень красива, я почувствовал некоторый интерес, но особенно об этом не задумывался. Я воспринял это как обычный порядок вещей — как солнце, садящееся над Северным морем, или как башни собора в Теркенбери. Я был поражен, когда услышал разговоры о красоте Рози, и, когда Эдуарду говорили, как она хороша, а он на мгновение взглядывал на нее, я следовал его примеру. Лайонел Хильер был художник и просил Рози позировать ему. Когда он рассказывал о картине, которую собирался писать с Рози, и объяснял мне, что он в ней видит, я слушал его с глупым видом, озадаченный и смущенный. Гарри Ретфорд знал одного из модных фотографов того времени и, договорившись о каких-то особых условиях, повел Рози сниматься. Спустя неделю-другую мы получили отпечатки и долго их разглядывали. Я еще никогда не видел Рози в вечернем платье. Оно было из белого атласа, с длинным треном, пышными рукавами и низким вырезом; причесана она была тщательнее обычного и совсем не походила на ту крепкую молодую женщину в соломенной шляпке и крахмальной блузке, которую я впервые встретил на Джой-лейн. Но Лайонел Хильер нетерпеливо отшвырнул фотографии.

— Дрянь, — сказал он. — Разве может быть Рози на фотографиях похожа на себя? В ней самое главное — краски. — Он повернулся к ней. — Рози, вы знаете, что ваши краски — это чудо из чудес?

Она молча взглянула на него, но ее полные красные губы сложились в ту самую детскую, озорную улыбку.

— Если я смогу передать хотя бы намек на это, я прославлюсь на всю жизнь, — сказал он. — Все жены богатых биржевиков приползут ко мне на коленях и будут умолять меня нарисовать их так же.

Вскоре я узнал, что Рози ему позирует. Я еще никогда не был в мастерской художника и считал ее вратами в мир романтики. Но когда я спросил, нельзя ли мне зайти взглянуть, как продвигается картина, Хильер сказал, что пока не хочет никому ее показывать. Это был тридцатипятилетний человек с цветущей внешностью, похожей на портрет Ван-Дейка, если бы изысканность в нем заменить добродушием. Он был чуть выше среднего роста, строен, носил пышную гриву черных волос, длинные усы и эспаньолку. Ходил он в испанских плащах и широкополых сомбреро. Он долго жил в Париже и с восхищением рассказывал о художниках, про которых мы и не слыхивали: о Моне, Сислее, Ренуаре; а о сэре Фредерике Лейтоне, мистере Алма-Тадема и мистере Дж.-Ф. Уоттсе, которыми в глубине души восхищались мы, отзывался с презрением. Я часто подумываю, что с ним сталось потом. Несколько лет он провел в Лондоне, пытаясь пробить себе дорогу, но, по-видимому, потерпел неудачу и уехал во Флоренцию. Мне говорили, что у него там художественная школа, но, когда много лет спустя я туда попал и начал о нем расспрашивать, я так и не нашел никого, кто бы о нем слыхал. По-моему, у него был кое-какой талант, потому что я до сих пор явственно помню написанный им портрет Рози Дриффилд. Интересно, что случилось с этим портретом. Погиб ли он или затерялся, прислоненный лицом к стене, на чердаке лавки старьевщика в Челси? Мне хотелось бы верить, что он нашел себе место хотя бы в какой-нибудь провинциальной художественной галерее.

Когда я наконец получил разрешение зайти посмотреть на портрет, я совсем осрамился. Мастерская Хильера находилась на Фулхэм-роуд, позади ряда лавок, и в нее вел темный, вонючий коридор. Дело было в воскресенье днем, в марте, погода стояла прекрасная, и я шел туда пешком с Винсент-сквер по пустынным улицам. Хильер жил в мастерской; там стоял большой диван, где он спал, а сзади была крохотная комната, где он готовил завтрак, мыл кисти и, я полагаю, мылся сам.

Когда я вошел, Рози была все еще в том же платье, в котором позировала, и они пили чай. Хильер открыл мне дверь и, не выпуская моей руки, подвел меня к большому полотну.

— Вот она, — сказал он.

Он написал Рози во весь рост, чуть меньше натуральной величины, в белом шелковом вечернем платье. Картина была совсем не похожа на привычные мне академические портреты. Я не знал, что сказать, и ляпнул первое, что пришло мне в голову:

— А когда она будет готова?

— Она готова, — ответил он.

Я покраснел до ушей, чувствуя себя полным идиотом. Тогда я еще не приноровился со знанием дела судить о работах современных художников, как, льщу себя мыслью, умею сейчас. Если бы это было здесь уместно, я бы мог написать отличное маленькое руководство, которое позволило бы любителю искусства, к полному удовлетворению художников, высказаться о самых разнообразных проявлениях творческого инстинкта. Например, произнесенное от всего сердца «Вот это да!» — показывает, что вы признаете мощь безжалостного реалиста; «Это так искренне!» — скрывает ваше замешательство при виде раскрашенной фотографии вдовы олдермена; тихий свист свидетельствует о вашем восхищении работой постимпрессиониста; «Очень, очень занятно» — выражает ваши чувства по поводу кубиста; «О!» — означает, что вы потрясены, а «А!» — что у вас захватило дух.

— Очень похоже. — Это было все, на что я был способен тогда.

— Вы слишком привыкли к бонбоньеркам, — сказал Хильер.

— По-моему, это замечательно, — быстро возразил я, защищаясь. — Вы пошлете ее в Академию?

— Что вы! Я мог бы еще послать ее в Гровнор.

Я перевел взгляд с картины на Рози, потом снова на картину.

— Встаньте в позу, Рози, — сказал Хильер, — пусть он на вас посмотрит.

Она поднялась на подставку. Я глядел то на нее, то на картину. В сердце у меня что-то странно шевельнулось, будто кто-то мягко погрузил в него острый нож, но это вовсе не было неприятно: я ощутил легкую, но какую-то сладкую боль, а потом у меня вдруг ослабели ноги. Не могу понять, помню ли я сейчас живую Рози или Рози с той картины, потому что, когда я думаю о ней, она представляется мне не в блузке и шляпке, как я ее увидел впервые, и не в каком-нибудь другом костюме, что я на ней потом видел, а в белом шелке, который написал Хильер, с черным бархатным бантом в волосах и в той позе, какую он ей велел принять.

Я никогда не знал точно, сколько Рози лет; по моим примерным подсчетам получается, что тогда ей было тридцать пять. Но выглядела она куда моложе. На ее лице не было ни единой морщины, и кожа оставалась гладкой, как у ребенка. Не думаю, чтобы ее черты лица отличались особой правильностью. Во всяком случае, в них не было аристократической утонченности знатных леди, чьи фотографии в то время продавались во всех лавках; они были скорее грубоваты. Короткий, чуть толстоватый нос, небольшие глаза, крупный рот; но глаза ее были васильковой голубизны, и они улыбались вместе с губами, очень яркими и чувственными, и я никогда не видел улыбки более веселой, дружеской и милой. Держалась Рози от природы немного угрюмо и замкнуто, но, когда она улыбалась, эта замкнутость вдруг становилась бесконечно привлекательной. В лице ее не играли краски; оно было только чуть смугловатое, а под глазами лежала легкая синева. Светло-золотистые волосы она причесывала по тогдашней моде, вверх от лба с замысловатой челкой.

— Чертовски трудно ее писать, — сказал Хильер, глядя то на нее, то на свою картину. — Видите ли, она вся золотая, и лицо и волосы, а общий колорит все равно вовсе не золотистый, а серебристый.

Я понимал, что он хочет сказать. Она вся светилась, но не ярким солнечным, а скорее бледным лунным сиянием, и если все же сравнивать ее с солнцем, то с солнцем в белом утреннем тумане. Хильер поместил ее в середине полотна, и она стояла, опустив руки с повернутыми к зрителю ладонями, слегка откинув голову, что особенно подчеркивало жемчужную прелесть ее груди и шеи. Она стояла, как актриса, вышедшая кланяться и смущенная неожиданными аплодисментами, но в ней было что-то столь девственное, столь неуловимо весеннее, что такое сравнение теряло всякий смысл. Это бесхитростное существо никогда не знало ни грима, ни света рампы. Она стояла, как дева, созревшая для любви, простодушно предлагающая себя возлюбленному, выполняя предназначение Природы. Поколение, к которому принадлежала Рози, не боялось некоторой пышности линий; она была стройна, но груди ее были полными, а бедра — хорошо обрисованными. Когда позже картину увидела миссис Бартон Траффорд, она сказала, что Рози напоминает ей жертвенную телку.

## 15

Вечерами Эдуард Дриффилд работал, а Рози делать было нечего, и она с удовольствием ходила куда-нибудь то с одним, то с другим из своих друзей. Она любила роскошь. Квентин Форд, располагавший средствами, заезжал за ней на извозчике и возил ее обедать к Кеттнеру или в «Савой», для чего она наряжалась в самые шикарные свои платья. Гарри Ретфорд, хоть у него никогда не было и шиллинга, тоже вел себя так, как будто был при деньгах, и тоже возил ее в экипаже и угощал обедами у Романо или в каком-нибудь из ресторанчиков Сохо, входивших в моду. Он был актер, и неплохой, но очень привередливый, и часто сидел без работы. Ему было лет тридцать. Это был человек с некрасивым, но симпатичным лицом и отрывистой манерой говорить, благодаря которой все его слова казались остроумными. Рози нравилось, как легко он относится к жизни, как лихо носит свои костюмы, сшитые у лучшего портного Лондона и неоплаченные, как безрассудно может поставить на какую-нибудь лошадь пять фунтов, которых у него нет, и как щедро швыряет деньги направо и налево, если выиграет. Он был весел, обаятелен, тщеславен, хвастлив и не слишком щепетилен. Рози рассказывала мне, что однажды он заложил часы, чтобы пригласить ее на обед, а потом занял пару фунтов у возглавлявшего труппу премьера, который предоставил им место в театре, и пригласил его же с ними поужинать.

Но она с таким же удовольствием ходила и в мастерскую Лайонела Хильера, где они вместе жарили себе отбивные, а потом проводили вечер за разговорами. И только очень редко она обедала со мной. Обычно я заходил за ней, уже пообедав на Винсент-сквер, а она обедала с Дриффилдом. Потом мы садились на автобус и ехали в мюзик-холл. Мы ходили то в один, то в другой, то в «Павильон», то в «Тиволи», иногда — в «Метрополитен», если хотели посмотреть какой-нибудь определенный номер, но больше всего любили «Кентербери». Места там были недорогие, а программа хорошая. Мы заказывали пару пива, я курил трубку, а Рози восхищенно разглядывала огромный, темный, прокуренный зал, битком набитый обитателями южного Лондона.

— Мне нравится «Кентербери», — говорила она. — Там так уютно.

Я обнаружил, что она — большая любительница чтения. Ей нравилась история, но не всякая, а только определенного рода — биографии королев и королевских любовниц, и она с детским удивлением рассказывала мне необыкновенные вещи, о которых читала. Она была прекрасно знакома со всеми шестью супругами короля Генриха VIII, знала всю подноготную миссис Фицгерберт и леди Гамильтон. Ее неутолимая любознательность простиралась от Лукреции Борджиа до жен Филиппа Испанского и включала длинный список любовниц французских королей. Она знала всех, и про каждую из них, от Агнес Сорель до мадам Дюбарри, знала все.

— Люблю читать про настоящую жизнь, — говорила она. — А романы мне не нравятся.

Любила она и посплетничать про Блэкстебл, и мне казалось, что и ходить-то со мной ей нравится потому, что я сам оттуда. Она, похоже, знала все, что там происходит.

— Я езжу туда раз в две-три недели повидаться с матерью, — как-то сказала она. — Всего на один вечер.

— В Блэкстебл? — удивился я.

— Нет, не в Блэкстебл, — улыбнулась она. — Туда меня пока что не тянет. В Хэвершем. Мать приезжает туда повидаться со мной. Я останавливаюсь в гостинице, где раньше работала.

Она никогда не отличалась разговорчивостью. Часто, погожими вечерами, когда мы решали пройтись из мюзик-холла пешком, она всю дорогу молчала. Но молчание ее было задушевным и уютным. Оно не исключало вас из круга занимавших ее мыслей; наоборот, вы становились частью всеохватывающего довольства жизнью.

Однажды я говорил о ней с Лайонелом Хильером и сказал, что не могу понять, как она превратилась из свежей молодой женщины крестьянского вида, которую я знал в Блэкстебле, в это очаровательное существо, чью красоту теперь признавали практически все. (Были люди, которые соглашались с этим не без оговорок. «Конечно, у нее прекрасная фигура, — говорили они, — но я не очень люблю такие лица» А другие говорили: «О да, очень красива; хорошо бы еще, если бы она была более утонченной».).

— Могу объяснить это вам в двух словах, — сказал Лайонел Хильер. — Когда вы впервые ее встретили, она была всего лишь свежей, миловидной девицей. Красавицей сделал ее я.

Не помню, что я ответил, — знаю только, что какую-то непристойность.

— Ну вот! Это говорит только о том, что вы ничего не понимаете в красоте. Никто не обращал особого внимания на Рози, пока я не увидел ее в образе серебристого солнца. Пока я ее не написал, никто не догадывался, что у нее красивейшие в мире волосы.

— А ее шея, грудь, осанка, телосложение — все это тоже вы сделали?

— Ну да, черт возьми, именно я!

Когда Хильер говорил о Рози при ней, она слушала с улыбчивой серьезностью, и на ее бледных щеках появлялся слабый румянец. По-моему, сначала, когда он заговаривал с ней о ее красоте, она думала, что он просто ее разыгрывает; но и потом, когда она убедилась, что это не так, и когда он написал ее в серебристо-золотых тонах, особенного впечатления на нее это не произвело. Ей было немного забавно, она, конечно, испытывала удовольствие и отчасти удивление, но голову ей это не вскружило. Она считала его немного сумасшедшим. Я нередко задумывался над тем, было ли между ними что-нибудь. Я не мог забыть всего, что слышал о Рози в Блэкстебле, и того, что видел в нашем саду; я подумывал и о Квентине Форде, и о Гарри Ретфорде. Я следил за тем, как они с ней себя ведут. Она обращалась с ними не то чтобы фамильярно — скорее по-приятельски: совершенно открыто, при всех, договаривалась о встречах и поглядывала на них с той озорной детской улыбкой, которая, как я теперь обнаружил, таила в себе такую необъяснимую прелесть. Иногда, сидя с ней рядом в мюзик-холле, я заглядывал ей в лицо; не думаю, чтобы я был влюблен в нее, мне просто было приятно-спокойно сидеть с ней и глядеть на бледное золото ее волос и кожи. Конечно, Лайонел Хильер был прав: самое удивительное было то, что это золото каким-то странным образом напоминало о лунном свете. В ней чувствовалась безмятежность летнего вечера, когда свет медленно меркнет на безоблачном небе. Ее безбрежное спокойствие было не монотонным, а таким же полным жизни, как море у берегов Кента, гладкое и сверкающее под августовским солнцем. Она напоминала мне сонатину какого-нибудь старинного итальянского композитора, задумчивую, но изысканно-игривую, проникнутую журчащим весельем, в котором легким, трепещущим эхом все еще звучит недавний вздох. Иногда, ощутив на себе мой взгляд, она поворачивалась и несколько мгновений смотрела мне прямо в лицо. При этом она не говорила ни слова. О чем она думала, я не знал.

Помню, однажды я зашел за Рози на Лимпус-роуд, и горничная, сказав, что хозяйка еще не готова, попросила меня подождать в гостиной. Рози вошла вся в черном бархате, в модной шляпе, увенчанной страусовыми перьями (мы собирались в «Павильон», и она по этому случаю приоделась). Выглядела она такой красивой, что у меня перехватило дыхание. Я был потрясен. Платья, которые тогда носили, придавали женщине достоинство, и было что-то удивительно привлекательное в том, как ее девственная красота (иногда она была похожа на замечательную статую Психеи в неаполитанском музее) оттенялась величавостью ее наряда. Ее отличала одна особенность, которая, по-моему, встречается очень редко, — кожа у нее под глазами, слегка голубоватая, всегда была влажной. Временами я не верил, что это естественная влага, и как-то спросил ее, не втирает ли она под глазами вазелин: это выглядело именно так. Она улыбнулась, вынула платок и протянула мне.

— Вытрите и посмотрите, — сказала она.

Однажды вечером, когда мы возвращались из «Кентербери» и я, прощаясь с ней у дверей, протянул ей руку, она негромко засмеялась и прильнула ко мне.

— Дурачок, — сказала она.

И поцеловала меня в губы. Этот поцелуй не был ни поспешным, ни страстным. Ее губы, ее полные яркие губы были прижаты к моим как раз столько времени, чтобы я мог ощутить их форму, их тепло, их мягкость. Потом, по-прежнему не спеша, она отстранилась, молча открыла дверь, скользнула в дом и исчезла. Я так удивился, что не мог произнести ни слова. Я просто, как дурак, принял ее поцелуй, не почувствовав никакого возбуждения. Потом я повернулся и пошел домой, а в ушах у меня продолжал звучать ее смешок. Он был не презрительным и не обидным, а откровенным и дружеским, как будто она засмеялась потому, что я ей нравлюсь.

## 16

После этого я целую неделю никуда не ходил с Рози. Она ездила в Хэвершем провести вечер с матерью, потом была занята в Лондоне. А потом она попросила меня пойти с ней в Хеймаркетский театр. Там шла очень модная пьеса и билетов не было, поэтому мы решили пойти на ненумерованные места в партер. Мы закусили бифштексом и стаканом пива в кафе «Монико», а потом стали ждать вместе с толпой. В те времена правильных очередей не бывало, и, когда открывали двери, начиналась страшная толкотня и давка. Изрядно вспотевшие, запыхавшиеся и несколько помятые, мы наконец пробились и заняли места.

Обратно мы шли пешком через Сент-Джеймс-парк. Ночь была так хороша, что мы присели на скамейку. При свете звезд лицо и волосы Рози как будто слегка светились. Вся она излучала дружелюбие, одновременно искреннее и нежное (я не очень удачно это выразил, но я не знаю, как передать это ощущение). Она была как серебристый ночной цветок, благоухающий только под лучами луны. Я обнял ее за талию, она повернулась ко мне, и на этот раз поцеловал ее я. Она не двинулась; ее мягкие алые губы подались с тихой, страстной покорностью, как вода озера принимает лунный свет.

Не знаю, сколько времени мы там сидели. Вдруг она сказала:

— Я ужасно проголодалась.

— Я тоже, — засмеялся я.

— Не подкрепиться ли нам где-нибудь жареной рыбой?

— Пожалуй.

В те времена я хорошо знал Вестминстер — тогда еще не модный квартал парламентариев и прочих важных персон, а захолустный, бедный уголок. Когда мы, выйдя из парка, перешли Виктория-стрит, я повел Рози в лавку на Хорсферри-роу, где торговали жареной рыбой. Было уже поздно, и единственным человеком, которого мы встретили, был кучер экипажа, ожидавший кого-то на улице. Мы заказали рыбу с картошкой и бутылку пива. Зашла какая-то бедная женщина, которая купила на два пенса рыбы и унесла ее, завернув в клочок бумаги. Мы ели с аппетитом.

Наш обратный путь лежал через Винсент-сквер, и, когда мы проходили мимо моего дома, я сказал ей:

— Может быть, зайдете на минуту? Вы еще не видели, как я живу.

— А ваша хозяйка? Я не хочу, чтобы у вас были неприятности.

— О, она спит как убитая.

— Ну, зайдем ненадолго.

Я тихо открыл ключом дверь и провел Рози за руку по темному коридору. Войдя в свою гостиную, я зажег газ. Рози сняла шляпку и крепко почесала в голове. Потом она поискала глазами зеркало, но я старался следовать самому изысканному вкусу и в свое время снял зеркало, висевшее над камином, так что в этой комнате никто не мог посмотреть, как он выглядит.

— Зайдите в спальню, — сказал я. — Там есть зеркало.

Я отворил дверь и зажег свечу. Рози вошла вслед за мной, и я высоко поднял свечу, чтобы ей было видно. Я смотрел в зеркало, как она поправляет волосы. Она вынула две или три шпильки, сунула их в рот и, взяв мою головную щетку, взбила вверх волосы с затылка. Потом она скрутила их, пришлепнула и опять воткнула шпильки. При этом она поймала в зеркале мой взгляд и улыбнулась. Воткнув последнюю шпильку, она повернулась ко мне, не говоря ни слова и спокойно глядя на меня все с той же едва заметной дружеской улыбкой в голубых глазах. Я поставил свечу. Комната была очень маленькая, и туалетный столик стоял рядом с кроватью. Она подняла руку и нежно погладила меня по щеке.

Сейчас я очень жалею, что начал писать эту книгу от первого лица. Это очень хорошо, когда есть возможность выставить самого себя в благожелательном или трогательном свете, и нет ничего более эффектного, чем скромно-героический или грустно-юмористический тон, которые широко применяются в этом грамматическом варианте. Очень приятно писать о себе, предвидя слезу, которая блеснет на глазах у читателя, и нежную улыбку на его губах; но это не доставляет вовсе никакого удовольствия, если приходится выставлять себя попросту последним дураком.

Некоторое время назад я прочел в «Ивнинг стандард» статью мистера Ивлина Во, где он, между прочим, заметил, что писать романы от первого лица — прием недостойный. Очень жаль, что он не объяснил почему, а просто бросил это замечание походя: хотите — верьте, хотите — нет, наподобие Евклида с его знаменитым наблюдением о параллельных прямых. Я очень заинтересовался этим и тотчас попросил Элроя Кира (он читает все, в том числе даже книги, к которым пишет предисловия) порекомендовать мне какие-нибудь труды по литературному мастерству. По его совету я прочел «Искусство беллетриста» м-ра Перси Лаббока, откуда узнал, что единственный способ писать романы — писать, как Генри Джеймс; потом я прочел «Некоторые аспекты романа» м-ра Э.-М. Форстера, откуда узнал, что писать романы нужно только так, как писал Э.-М. Форстер; потом я прочел «Композицию романа» м-ра Эдвина Мюйра, откуда вообще ничего не узнал. Но ни в одной из этих книг я не нашел ничего о том, что мне было нужно. Тем не менее я могу указать одну причину, по которой некоторые романисты — такие, как Дефо, Стерн, Теккерей, Диккенс, Эмили Бронте и Пруст, хорошо известные в свое время, но теперь, несомненно, позабытые, прибегали к методу, который осудил м-р Ивлин Во. Становясь старше, мы все в большей степени осознаем людскую сложность, непоследовательность и неразумие, и это служит единственным оправданием для писателя, который в пожилом или преклонном возрасте вместо того, чтобы размышлять о вещах посерьезнее, интересуется мелкими побуждениями воображаемых персонажей. Ибо если для постижения рода человеческого следует изучать человека, то явно разумнее взять в качестве предмета для изучения непротиворечивые, осязаемые и содержательные вымышленные образы, чем иррациональные и смутные фигуры из реальной жизни. Иногда романист, как всеведущий бог, готов рассказать вам все о своих персонажах; но иногда бывает и иначе, и тогда он рассказывает вам не все, что можно о них знать, а лишь то немногое, что знает сам; и поскольку, становясь старше, мы все в меньшей степени ощущаем себя богоподобными, то не следует удивляться, что с возрастом романист все более утрачивает склонность описывать что бы то ни было сверх того, что он познал из собственного опыта. А для этой ограниченной цели первое лицо единственного числа очень удобно.

Рози подняла руку и нежно погладила меня по щеке. Не знаю, почему я сделал то, что сделал вслед за этим; обычно я представлял себе свое поведение в подобном случае совершенно иным. Рыдание перехватило мне горло; не знаю, от того ли, что я был робок и одинок (не телом, потому что я целый день проводил в больнице с разнообразными людьми, но душой), или от того, что слишком велико было мое желание, но я заплакал. Мне было ужасно стыдно; я пытался взять себя в руки, но не мог — слезы хлынули у меня из глаз и потекли по щекам. Рози заметила их и тихо ахнула.

— Милый, что с тобой? В чем дело? Не надо, ну не надо!

Она обняла меня за шею и тоже заплакала, целуя мои губы, глаза и мокрые щеки. Она расстегнула корсаж, положила мою голову себе на грудь, гладила мое лицо и укачивала меня, как малого ребенка, а я целовал ее груди и беломраморную шею. Потом она сбросила корсаж и юбку, и я обнял ее за талию, затянутую в корсет; потом она расстегнула его, на мгновение задержав дыхание, и встала передо мной в одной сорочке. Когда я положил руки ей на бедра, я почувствовал складки на коже от корсета.

— Задуй свечу, — прошептала она.

Она разбудила меня, когда рассвет заглянул за занавески и вырвал из темноты уходящей ночи кровать и шкаф. Я проснулся от того, что она поцеловала меня в губы, щекоча мне лицо рассыпавшимися волосами.

— Мне надо вставать, — сказала она. — Не хочу, чтобы меня видела твоя хозяйка.

— Еще есть время.

Она склонилась надо мной, и ее груди тяжело легли мне на грудь. Вскоре она встала. Я зажег свечу. Она повернулась к зеркалу, поправила волосы, а потом оглядела свое нагое тело. У нее от природы была тонкая талия, и, несмотря на хорошо развитую фигуру, она отличалась стройностью. Ее крепкие, высокие груди выступали вперед, как будто изваянные из мрамора. В свете свечи, уже боровшемся с крепнущим днем, все ее тело, как будто предназначенное для любви, казалось серебристо-золотым, и единственным цветным пятном были ало-розовые крепкие соски.

Мы молча оделись. Корсет она надевать не стала, а просто сложила, и я завернул его в газету. На цыпочках мы прошли по коридору, и, когда я отворил дверь и мы шагнули наружу, рассвет бросился нам навстречу, как кошка по ступенькам. Площадь была пуста; солнце уже освещало окна, выходящие на восток. Я чувствовал себя таким же юным, как этот начинающийся день. Держась за руки, мы дошли до угла Лимпус-роуд.

— Теперь я пойду одна, — сказала она. — На всякий случай.

Я поцеловал ее и долго глядел ей вслед. Она шла медленно, держась прямо, твердой поступью деревенской женщины, которая привыкла, что под ногами у нее прочная земля. Я не мог возвратиться в постель и бродил по улицам, пока не вышел на набережную. Раннее утро ярко окрашивало реку. Под Воксхоллским мостом плыла вниз по течению коричневая баржа, а у берега в маленькой лодке гребли двое мужчин. Я почувствовал, что голоден.

## 17

Это продолжалось больше года. Каждый раз, когда мы с Рози куда-нибудь ходили, по пути домой она заходила ко мне — иногда на часок, иногда до тех пор, пока рассвет не предупреждал нас, что служанки скоро примутся за мытье крылечек. Я помню теплые солнечные утра, когда усталый лондонский воздух наполнялся желанной свежестью; помню звуки наших шагов, казавшиеся такими громкими на пустынных улицах; помню, как мы молча, но весело спешили под зонтиком, когда зима принесла с собой холода и дожди. Полисмены, стоявшие на посту, поглядывали на нас, когда мы проходили мимо, — иногда подозрительно, а иногда с понимающим блеском в глазах. Время от времени нам попадался бездомный бродяга, прикорнувший где-нибудь под колоннадой. Рози дружески сжимала мою руку, когда я клал серебряную монету ему на колени или в костлявую ладонь (главным образом напоказ, чтобы произвести впечатление на Рози, потому что денег у меня было немного). Рози сделала меня счастливым. Я очень к ней привязался. С ней было легко и уютно. Ее безмятежность передавалась всем вокруг, так что каждый мог разделить с ней наслаждение переживаемой минутой.

До того, как я стал ее любовником, я часто думал, была ли она любовницей других — Форда, Гарри Ретфорда и Хильера, а после этого как-то ее спросил. Она поцеловала меня.

— Не говори глупости. Они мне нравятся, ты это знаешь. Мне приятно с ними ходить, вот и все.

Я хотел еще спросить ее, была ли она любовницей Джорджа Кемпа, но так и не решился. Правда, я ни разу не видел, чтобы она сердилась, но подозревал, что она вполне на это способна, и смутно чувствовал, что именно этот вопрос может вывести ее из себя. Я не хотел, чтобы ей представился случай сказать мне что-нибудь обидное, чего я не смог бы ей простить. Я был молод, мне только что исполнился двадцать один год. Квентин Форд и все остальные казались мне стариками, и мне представлялось вполне естественным, что для Рози они — просто приятели. Я гордился тем, что я ее любовник. Глядя, как она во время субботних чаепитий смеется и болтает со всеми и каждым, я прямо светился самодовольством. Я думал о тех ночах, которые мы проводили вместе, и мне становилось смешно при мысли, что никто не догадывается о моей великой тайне. Но время от времени мне казалось, что Лайонел Хильер посматривает на меня лукаво, как будто подсмеиваясь, и я с беспокойством спрашивал себя, не сказала ли ему Рози, что у нас роман. «Не выдает ли нас мое поведение?» — думал я. Как-то я сказал Рози, что боюсь, как бы Хильер чего-нибудь не заподозрил, но она поглядела на меня своими голубыми глазами, которые, казалось, постоянно были готовы улыбнуться.

— Не беспокойся, — ответила она. — У него всегда всякие гадости на уме.

С Квентином Фордом я никогда не был близок. Он считал меня нудным и неинтересным молодым человеком (каким я, конечно, и был) и хотя держался всегда вежливо, но особого внимания на меня не обращал. Я решил, что мне скорее всего только кажется, будто он теперь стал со мной еще более холоден, чем раньше. А Гарри Ретфорд однажды, к моему удивлению, пригласил меня пообедать с ним и пойти в театр. Я сказал об этом Рози.

— О, конечно, сходи. Ты прекрасно проведешь время. Гарри — мой старый приятель, с ним всегда весело.

Я с ним пообедал. Он был очень любезен, и на меня произвели впечатление его рассказы об актерах и актрисах. Он отличался саркастическим юмором и много острил по адресу Квентина Форда, которого недолюбливал; я пытался перевести разговор на Рози, но о ней он говорить не стал. Он был большой весельчак. Подмигивая, он смешными намеками дал мне понять, каким успехом пользуется у девушек. Я не мог не задуматься о том, не потому ли он угощает меня этим обедом, что знает о моих отношениях с Рози и поэтому дружески ко мне расположен. Но если знает он, то знают, конечно, и все остальные. В душе я, разумеется, относился к ним несколько покровительственно, хотя надеюсь, что по мне этого не видно было.

А потом, зимой, в конце января, на Лимпус-роуд появилось новое лицо. Это был голландский еврей по имени Джек Кейпер, торговец бриллиантами из Амстердама, приехавший в Лондон на несколько недель по делам. Не знаю, как он познакомился с Дриффилдами и привело ли его к ним преклонение перед литературным талантом хозяина, но, во всяком случае, не оно заставило его прийти вновь. Это был высокий, плотный, темноволосый человек с лысой головой и большим крючковатым носом. Ему было лет пятьдесят, но выглядел он сильным, чувственным, решительным и веселым. Он не скрывал своего восхищения Рози. Очевидно, он был богат, потому что каждый день посылал ей цветы; она корила его за такое расточительство, но это ей льстило. Я его терпеть не мог. Он был развязен и криклив. Я ненавидел его бесконечные разговоры на правильном, но каком-то ненастоящем английском языке, ненавидел экстравагантные комплименты, которые он отпускал Рози, ненавидел добродушие, которое он проявлял к ее друзьям. Я обнаружил, что Квентину Форду Кейпер так же не нравился, как и мне, и мы с ним почти подружились.

— К счастью, он скоро уедет. — Квентин Форд поджимал губы и поднимал черные брови; со своими белыми волосами и длинным, худым лицом он выглядел невероятно аристократично. — Женщины все одинаковы: они обожают нахалов.

— Он так ужасно вульгарен, — жаловался я.

— Этим и берет, — говорил Квентин Форд.

Следующие две-три недели я Рози почти не видел. Джек Кейпер вечер за вечером приглашал ее с собой то в один, то в другой ресторанчик, то на один, то на другой спектакль. Я был встревожен и обижен.

— Он же никого в Лондоне не знает, — говорила Рози, стараясь меня утешить. — Он хочет, пока здесь, повидать все, что можно. Было бы неудобно, если бы ему пришлось ходить все время одному. Он пробудет здесь еще всего две недели.

Я не видел в таком самопожертвовании с ее стороны никакого смысла.

— Но неужели ты не видишь, что он отвратителен? — спросил я.

— Нет. По-моему, с ним весело. Он меня смешит.

— А ты знаешь, что он от тебя без ума?

— Ну что ж, ему это доставляет удовольствие, а меня от этого не убудет.

— Он старый, толстый и противный. У меня мурашки по спине бегают, когда я его вижу.

— Не так уж он плох, по-моему, — ответила Рози.

— Как ты можешь иметь с ним дело? — возразил я. — Он же такой хам!

Рози почесала в голове — была у нее такая скверная привычка.

— Чудно, что иностранцы совсем не такие, как англичане, — сказала она.

Я был рад, когда Джек Кейпер отправился к себе в Амстердам. Рози обещала на следующий день пообедать со мной, и на радостях мы договорились пообедать в Сохо. Она заехала за мной на извозчике, и мы отправились.

— Ну как, уехал твой ужасный старик? — спросил я.

— Да, — засмеялась она.

Я обнял ее за талию (где-то я уже замечал, насколько для этого приятного и почти необходимого момента человеческих отношений извозчичий экипаж удобнее нынешнего такси, и здесь приходится воздержаться от дальнейшей разработки этой темы). Я обнял ее за талию и поцеловал. Ее губы были как весенние цветы.

Мы приехали в ресторан. Я повесил на крючок свою шляпу и пальто (очень длинное, в талию, с бархатным воротником и бархатными обшлагами — все по моде) и предложил Рози взять ее накидку.

— Я останусь в ней, — сказала она.

— Тебе будет страшно жарко. А когда выйдем на улицу, ты простудишься.

— Не важно... Я в первый раз ее надела. Красивая, правда? И смотри, такая же муфта.

Я взглянул на накидку. Она была меховая. Я тогда не знал, что это соболь.

— Выглядит очень роскошно. Откуда она у тебя?

— Джек Кейпер подарил. Мы вчера пошли и купили ее, перед самым его отъездом. — Она погладила гладкий мех, счастливая, как ребенок с новой игрушкой. — Как ты думаешь, сколько она стоит?

— Не представляю.

— Двести шестьдесят фунтов. Знаешь, у меня в жизни еще не было такой дорогой вещи. Я говорила ему, что это слишком, но он слушать не хотел и заставил меня ее взять.

Она радостно засмеялась. Глаза ее блестели. Но у меня сжались губы, а по спине пробежал холодок.

— А Дриффилду не покажется странным, что Кейпер подарил тебе такую дорогую меховую накидку? — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал естественно. Рози ответила озорным взглядом.

— Ты же знаешь Теда — он ничего никогда не замечает. Если он что-нибудь спросит, я скажу, что дала за нее двадцать фунтов в ломбарде. Он ни о чем не догадается. — Рози потерлась лицом о воротник. — Она такая мягкая. И всякому видно, что стоила больших денег.

Я пытался есть и, чтобы скрыть охватившую мое сердце горечь, всячески старался поддержать разговор. Рози не очень меня слушала. Она думала только о своей новой накидке, и каждую минуту взгляд ее возвращался к муфте, которую она все-таки взяла с собой. В нежности, с которой она посматривала на муфту, было что-то ленивое, чувственное и самодовольное. Я злился на нее, она казалась мне глупой и вульгарной. Я не мог удержаться, чтобы не съязвить:

— Ты — как кошка, которая полакомилась птичкой.

Она только хихикнула.

— Я так себя и чувствую.

Двести шестьдесят фунтов были для меня огромной суммой. Я даже не знал, что накидка может столько стоить. Я жил на четырнадцать фунтов в месяц, и жил вовсе неплохо; а на случай, если читатель не силен в арифметике, добавлю, что это означает сто шестьдесят восемь фунтов в год. Я не верил, чтобы кто-нибудь мог сделать такой дорогой подарок просто из дружбы; что это могло означать, кроме того, что Джек Кейпер спал с Рози каждую ночь, все время, пока был в Лондоне, а перед отъездом расплатился с ней? Как могла она на это согласиться? Неужели она не понимает, как это для нее унизительно? Неужели не видит, как вульгарно с его стороны подарить ей такую дорогую вещь? Очевидно, она этого не видела, потому что сказала мне:

— Очень мило с его стороны, правда? Но евреи все щедрые.

— Вероятно, он мог себе это позволить, — сказал я.

— О да, у него куча денег. Он сказал, что хочет мне перед отъездом что-нибудь подарить, и спросил, чего бы мне хотелось. Ладно, говорю, неплохо было бы иметь накидку и к ней муфту. Но я никак не думала, что он купит такую. Когда мы пришли в магазин, я попросила показать что-нибудь из каракуля, но он сказал: «Нет, соболя, и самого лучшего». И когда увидел эту, просто заставил меня ее взять.

Я представил себе ее белое тело с такой молочной кожей в объятьях этого старого, толстого, грубого человека и его толстые, оттопыренные губы на ее губах. И тут я понял, что все подозрения, которым я отказывался верить, были правдой. Я понял, что, когда она обедала с Квентином Фордом, и с Гарри Рэтфордом, и с Лайонелом Хильером, она спала с ними, точно так же, как спала и со мной. Я не мог произнести ни слова: я знал, что стоит мне раскрыть рот, как я скажу что-нибудь оскорбительное. По-моему, я был не столько охвачен ревностью, сколько подавлен. Я понял, что она провела меня, как последнего дурака. Я напрягал все силы, чтобы сдержать горькие насмешки, готовые слететь с моих губ.

Мы пошли в театр. Я не слушал актеров. Я только чувствовал на своей руке прикосновение гладкого соболиного меха и видел, как ее пальцы непрерывно поглаживают муфту. С мыслью об остальных я мог примириться, но Джек Кейпер меня потряс. Как она могла? Ужасно быть бедным. Были бы у меня деньги, я бы сказал ей — отошли обратно этому типу его гнусные меха, я куплю другие, гораздо лучше! Наконец она заметила мое молчание.

— Ты сегодня что-то очень тихий.

— Разве?

— Ты себя плохо чувствуешь?

— Я чувствую себя прекрасно.

Она искоса поглядела на меня. Я отвел взгляд, но знал, что ее глаза улыбаются той самой озорной и в то же время детской улыбкой, которую я так хорошо знал. Больше она ничего не сказала. Когда спектакль кончился, шел дождь, и мы взяли извозчика. Я дал кучеру ее адрес на Лимпус-роуд. Она молчала, пока мы не доехали до Виктория-стрит, потом спросила:

— Разве ты не хочешь, чтобы я зашла к тебе?

— Что ж, если угодно.

Она приоткрыла окошечко и сказала кучеру мой адрес. Потом взяла меня за руку и не отпускала ее, но я остался холоден. С чувством уязвленного достоинства я глядел прямо в окно. Когда мы приехали на Винсент-сквер, я помог ей выйти и впустил ее в дом, не говоря ни слова. Я снял шляпу и пальто, она швырнула на диван накидку и муфту.

— Почему ты дуешься? — спросила она, подходя ко мне.

— Я не дуюсь, — отвечал я, глядя в сторону.

Она обеими руками схватила мое лицо.

— Ну почему ты такой глупый? Стоит ли злиться из-за того, что Джек Кейпер подарил мне меховую накидку? Ведь ты же не можешь такую купить, верно?

— Конечно нет.

— И Тед не может. Не отказываться же мне от меховой накидки, которая стоит двести шестьдесят фунтов! Я всю жизнь о такой мечтала. А для Джека это ничего не стоит.

— Не думаешь же ты, что я поверю, будто он сделал это просто по дружбе?

— А почему бы и нет? Во всяком случае, он уехал в Амстердам, и кто знает, когда он приедет снова?

— Да он и не единственный.

Я смотрел на Рози с гневом, обидой, возмущением, а она улыбалась мне — как жаль, что я не умею описать милую доброту ее чудесной улыбки! Голос ее звучал удивительно мягко.

— Милый, ну зачем тебе думать о каких-то других? Разве тебе это мешает? Разве тебе со мной плохо? Разве ты со мной не счастлив?

— Очень.

— Ну и хорошо. Глупо злиться и ревновать. Почему не радоваться тому, что у тебя есть? Я всегда говорю — наслаждайся жизнью, пока можешь; через сотню лет мы все будем в могиле, и тогда уж ничего не будет. А пока можно, надо проводить время с удовольствием.

Она обняла меня за шею и прижалась губами к моим губам. Я забыл свой гнев — я мог думать только о ее прелести, о ее всепоглощающей доброте.

— Придется уж тебе принимать меня такой, какая я есть, — прошептала она.

— Придется, — ответил я.

## 18

За все время я очень мало виделся с Дриффилдом. Большую часть дня он занимался своими редакторскими делами, а по вечерам писал. Конечно, субботние вечера он проводил с нами, дружелюбно болтая и забавляя нас своими ироническими замечаниями. Казалось, он всегда был рад меня видеть и разговаривать со мной на всякие общие темы, хотя и не подолгу, потому что больше внимания, естественно, уделял гостям постарше и поважнее. И все-таки у меня было ощущение, что между ним и нами растет какое-то отчуждение; он уже не был тем веселым, чуть вульгарным собеседником, которого я знал в Блэкстебле. Может быть, дело было просто в моей обострившейся чувствительности, которая и позволила мне ощутить невидимый барьер между ним и теми, с кем он болтал и шутил. Похоже было, что он живет какой-то воображаемой жизнью, рядом с которой повседневность кажется чуть призрачной. Время от времени его приглашали говорить речи на публичных обедах; он вступил в литературный клуб, познакомился с множеством людей за пределами того узкого кружка, с которым его связывала литературная работа, и все чаще получал приглашения на обеды и чаепития от дам, стремившихся собирать вокруг себя известных писателей. Рози тоже приглашали, но она ходила в гости редко, говоря, что не любит приемов, и потом ведь не она же им нужна — им нужен только Тед. Я думаю, в таких случаях она робела и чувствовала себя не в своей тарелке. Может быть, хозяйки не раз давали ей понять, как им неприятно, что приходится принимать и ее, а уж пригласив ее приличия ради, они ее игнорировали, потому что их раздражала необходимость обходиться с ней вежливо.

Как раз тогда Эдуард Дриффилд напечатал «Чашу жизни». Разбирать его произведения — не мое дело, и к тому же за последнее время о них написано столько, что этого вполне хватит для любого обычного читателя. Но я позволю себе сказать, что «Чаша жизни» хоть и не самая знаменитая и не самая популярная из его книг, но, на мой взгляд, самая интересная. В ней есть какая-то хладнокровная беспощадность, которая резко выделяет ее на фоне сентиментальности, присущей английской литературе. В ней есть свежесть и терпкость. Она как кислое яблоко — от нее сводит скулы, но в то же время в ней чувствуется какой-то едва заметный и очень приятный горьковато-сладкий привкус. Из всех книг Дриффилда это единственная, которую я был бы рад написать сам. Каждому, кто ее читал, надолго запомнится страшная, душераздирающая, но описанная без всякой слюнявости и ложной чувствительности сцена смерти ребенка и следующий за ней странный эпизод.

Именно эта часть книги и вызвала внезапный шквал, обрушившийся на голову бедного Дриффилда. Первые несколько дней после выхода книги казалось, что все пойдет так же, как и с прежними его романами: что она будет удостоена обстоятельных рецензий, в целом похвальных, хотя и не без оговорок, и будет раскупаться понемногу, но в общем неплохо. Рози рассказывала мне, что он надеялся заработать фунтов триста, и поговаривала о том, как бы на лето снять дачу у реки. Первые два или три отзыва были ни к чему не обязывающими; а потом одна из утренних газет разразилась целым столбцом резких нападок. Книга была объявлена намеренно оскорбительной и непристойной; попало и выпустившим ее издателям. Газета рисовала ужасные картины того разлагающего влияния, которое возымеет книга на английскую молодежь, и называла ее вопиющим оскорблением женственности. Рецензент возмущался тем, что книга может попасть в руки юношей и невинных девушек. Другие газеты последовали примеру первой. Те, что поглупее, требовали запретить книгу, и кое-кто с серьезным видом задавал вопрос, не следует ли тут вмешаться прокурору. Осуждение было единодушным; если время от времени какой-нибудь отважный писатель, привычный к более реалистической континентальной литературе, и утверждал, что Эдуард Дриффилд не написал ничего лучше этой книги, то на него не обращали внимания, приписывая его искреннее мнение неизменному желанию угодить галерке. Библиотеки прекратили выдачу книги, а хозяева книжных киосков на железнодорожных станциях отказывались ее брать.

Все это, естественно, было Эдуарду Дриффилду очень неприятно, но он держался с философским спокойствием и только пожимал плечами.

— Они говорят, что это неправда, — улыбался он. — Пусть катятся к черту — там все истинная правда.

Немалую поддержку в то трудное время он черпал в верности своих друзей. Восхищаться «Чашей жизни» стало признаком эстетической проницательности; возмущаться ею — значило сознаться в своем филистерстве. Миссис Бартон Траффорд без колебаний объявила книгу шедевром, и, хотя для появления статьи Бартона в «Куортерли» момент был сочтен неподходящим, ее вера в будущее Эдуарда Дриффилда осталась незыблемой. Сейчас странно (и поучительно) читать эту книгу, вызвавшую такую сенсацию: в ней нет ни одного слова, способного заставить покраснеть даже самого невинного читателя, ни одного эпизода, который мог бы хоть чуточку смутить человека, привыкшего к нынешним романам.

## 19

Месяцев через шесть шум, поднятый вокруг «Чаши жизни», пошел на убыль, и Дриффилд начал писать роман, позднее опубликованный под названием «По плодам их». Я в то время учился на четвертом курсе и работал в перевязочной. Однажды на дежурстве я вышел в вестибюль больницы, где должен был подождать хирурга, чтобы идти с ним на обход. Я взглянул на стойку для писем, потому что иногда люди, не знавшие моего домашнего адреса, писали мне в больницу. С большим удивлением я обнаружил телеграмму на свое имя. В ней говорилось:

«Пожалуйста, непременно зайдите ко мне сегодня в пять часов. Это важно.»

Изабел Траффорд.

Зачем я ей понадобился? За последние два года я видел ее, может быть, раз десять, но она никогда не обращала на меня внимания, и у нее я ни разу не был. Я знал, какой большой спрос в это время дня на мужчин; может быть, хозяйка в последнюю минуту обнаружила, что среди гостей их окажется меньше, чем женщин, и решила, что студент-медик все же лучше, чем ничего? Но, судя по тексту телеграммы, речь шла не о приеме.

Хирург, которому я ассистировал, был нуден и болтлив. Я освободился только в шестом часу, и мне понадобилось добрых двадцать минут, чтобы добраться до Челси. Миссис Бартон Траффорд занимала квартиру в большом доме на набережной. Было уже почти шесть, когда я позвонил у ее дверей и спросил, дома ли она. Но когда меня провели в гостиную и я начал объяснять, почему опоздал, она перебила меня:

— Мы так и думали, что вы задержались. Это пустяки.

Ее муж был тут же.

— Наверное, он не откажется от чашки чаю, — сказал он.

— По-моему, для чая уже поздно, не правда ли? — Она нежно взглянула на меня своими мягкими, прекрасными, полными доброты глазами. — Ведь вы не хотите чая?

Я был голоден и хотел пить, потому что мой обед состоял из чашки кофе и булочки с маслом, но я об этом умолчал и от чая отказался.

— Вы знакомы с Олгудом Ньютоном? — спросила миссис Бартон Траффорд, сделав движение в сторону человека, который, когда я вошел, сидел в большом кресле, а теперь встал. — Я думаю, вы встречали его у Эдуарда.

Я его встречал. Он приходил не часто, но его имя было мне знакомо, и я его помнил. Я всегда очень волновался в его присутствии и, кажется, ни разу с ним не разговаривал. Хотя сейчас он совершенно забыт, но в те дни он был самым известным в Англии критиком. Это был крупный, толстый блондин с мясистым бледным лицом, светло-голубыми глазами и седеющими волосами. Галстук он обычно носил тоже светло-голубой, под цвет глаз. Он очень дружелюбно обращался с авторами, которых встречал у Дриффилдов, говорил им приятные и лестные слова, но, когда они уходили, отпускал по их адресу очень смешные шутки. Он разговаривал тихим, ровным голосом, умело подбирая слова; никто не мог с большим ехидством рассказать про своего приятеля злую сплетню.

Олгуд Ньютон обменялся со мной рукопожатием, а миссис Бартон Траффорд, стараясь со своей всегдашней заботливостью, чтобы я чувствовал себя свободно, взяла меня за руку и усадила на диван рядом с собой. Чай еще стоял на столе, и она, взяв сандвич с джемом, изящно откусила кусочек.

— Вы бывали у Дриффилдов в последнее время? — спросила она, как будто занимая меня разговором.

— Был, в прошлую субботу.

— А с тех пор вы никого из них не видели?

— Нет.

Миссис Бартон Траффорд взглянула на Олгуда Ньютона, потом на мужа, потом снова на Ньютона, как будто молча призывая их на помощь.

— Обиняками мы ничего не добьемся, Изабел, — сказал Ньютон своим масленым отчетливым голосом, и в глазах у него едва заметно блеснуло ехидство.

Миссис Бартон Траффорд повернулась ко мне.

— Значит, вы не знаете, что миссис Дриффилд сбежала от мужа?

— Что?!

Я был ошарашен и не мог поверить своим ушам.

— Может быть, вы лучше изложите ему все факты, Олгуд? — предложила миссис Траффорд.

Критик откинулся назад в своем кресле, сложил руки перед собой, соединив кончики пальцев, и со смаком заговорил:

— Вчера вечером я должен был встретиться с Эдуардом Дриффилдом по поводу одной статьи, которую я для него пишу, и после обеда, поскольку погода была хорошая, я решил пройтись до его дома пешком. Он ждал меня; кроме того, я знал, что он никогда никуда не ходит по вечерам, если не считать особенно важных случаев — скажем, банкета у лорд-мэра или обеда в Академии. И представьте себе мое удивление, нет, мое полное и абсолютное изумление, когда я, приблизившись, увидел, как открывается дверь его дома и появляется Эдуард Дриффилд собственной персоной! Вы, конечно, знаете, что Иммануил Кант ежедневно выходил на прогулку в определенное время с такой точностью, что жители Кенигсберга привыкли проверять по этому событию свои часы, и, когда однажды он вышел из дома на час раньше обычного, они пришли в ужас, поняв, что случилось нечто страшное. Они не ошиблись. Иммануил Кант только что получил сообщение о падении Бастилии.

Олгуд Ньютон на мгновение остановился, чтобы насладиться произведенным впечатлением. Миссис Бартон Траффорд удостоила его понимающей улыбки.

— Правда, когда я увидел, как Эдуард спешит мне навстречу, у меня не возникло предчувствия какой-нибудь столь же потрясающей мировой катастрофы, но я тут же понял, что произошло какое-то несчастье. При нем не было ни трости, ни перчаток. Он был одет в свою рабочую куртку — почтенное одеяние из черной альпаки, и широкополую шляпу. В лице у него я заметил что-то дикое, а в поведении — что-то безумное. Зная превратности супружеской жизни, я спросил себя, не семейный ли разлад заставил его сломя голову выбежать из дома или же он просто спешит к почтовому ящику, чтобы отправить письмо. Он бежал, как Гектор в погоне за благороднейшими из ахейцев. Меня он, казалось, не заметил, и у меня блеснуло подозрение, что он сделал это намеренно. Я остановил его. «Эдуард», — сказал я. Он вздрогнул. Готов поклясться, что в первое мгновение он меня не узнал. «Какие мстительные фурии гонят вас с такой поспешностью по темным закоулкам Пимлико?» — спросил я. «Ах, это вы», — сказал он. «Куда вы идете?» — спросил я. «Никуда», — ответил он.

Я понял, что при таком темпе Олгуд Ньютон никогда не кончит свой рассказ, и миссис Хадсон будет сердиться на меня за получасовое опоздание к обеду.

— Я сообщил ему, по какому делу направляюсь к нему, и предложил ему вернуться домой, где мы могли бы более спокойно обсудить вопрос, который меня волновал. «Не могу я идти домой, мне не сидится на месте, — сказал он. — Давайте пройдемся. Мы можем поговорить по дороге». Согласившись, я повернул назад. Но он шел слишком быстро, и я был вынужден просить его умерить шаги. Даже доктор Джонсон не смог бы поддерживать разговор, несясь по Флит-стрит со скоростью экспресса. Эдуард выглядел так странно и вел себя так возбужденно, что я счел разумным повести его по менее людным улицам. Я начал говорить о своей статье. Предмет, который меня занимал, оказался значительно обширнее, чем выглядел с первого взгляда, и я пребывал в сомнении, смогу ли я вообще отдать ему должное на страницах еженедельника. Я обстоятельно и беспристрастно изложил дело и спросил его мнение. «Рози ушла от меня», — ответил он. В первое мгновение я не понял, о чем он говорит, но тут же мне пришло в голову, что он имеет в виду ту свежую и не лишенную привлекательности особу, из рук которой я иногда принимал чашку чаю. По его тону я предположил, что он ждет от меня скорее соболезнования, чем поздравления.

Олгуд Ньютон снова сделал паузу, и его голубые глаза блеснули.

— Вы великолепны, Олгуд! — сказала миссис Бартон Траффорд.

— Неповторимы, — сказал ее муж.

— Поняв, что в данном случае от меня требуется сочувствие, я начал: «Мой дорогой друг!». Он прервал меня. «Я только что получил письмо, — сказал он. — Она сбежала с Лордом Джорджем Кемпом».

У меня захватило дух, но я промолчал. Миссис Траффорд бросила на меня быстрый взгляд.

— «Кто такой Лорд Джордж Кемп?» — «Один человек из Блэкстебла», — ответил он. Я не имел времени на размышления и решил быть откровенным. «Ну и скатертью дорога», — сказал я. «Олгуд!» — вскричал он. Я остановился и положил ему руку на плечо. «Вы должны знать, что она изменяла вам со всеми вашими друзьями. Она вела себя просто скандально. Дорогой Эдуард, давайте посмотрим фактам в глаза: ваша жена была не кто иная, как самая обыкновенная потаскуха». Он стряхнул с плеча мою руку и издал нечто вроде рычания, как орангутанг из лесов Борнео, у которого силой отняли кокосовый орех. И прежде чем я успел остановить его, он вырвался и побежал прочь. Я был так потрясен, что не мог ничего сделать, а только стоял и слушал, как вдали затихают его вопли и поспешные шаги.

— Вы не должны были его отпускать, — сказала миссис Бартон Траффорд. — В этом состоянии он может броситься в Темзу.

— Эта мысль приходила мне в голову, но я заметил, что он побежал не в сторону реки, а скрылся в убогих переулках той части города, где мы находились. Кроме того, я подумал, что история литературы не знает случая, чтобы писатель совершил самоубийство, не закончив своего произведения. Как бы велико ни было его горе, он не захочет оставить потомкам незавершенный опус.

То, что я услышал, поразило меня и привело в ужас; тревожило меня и то, что я не мог понять, зачем миссис Траффорд послала за мной. Она слишком мало меня знала, чтобы полагать, что эта история может представить для меня особый интерес; не стала бы она и трудиться только ради того, чтобы поскорее сообщить мне такую новость.

— Бедный Эдуард, — сказала она. — Конечно, никто не может отрицать, что в конечном счете все получилось к лучшему, но я боюсь, не принял бы он это слишком близко к сердцу. К счастью, он не совершил никаких опрометчивых поступков. — Она повернулась ко мне. — Как только мистер Ньютон рассказал нам, что произошло, я отправилась на Лимпус-роуд. Эдуарда не было, но горничная сказала, что он только что ушел; значит, он побывал дома после того, как убежал от Олгуда. Вы, наверное, удивляетесь, зачем я пригласила вас к себе.

Я молча ждал, что она скажет дальше.

— Вы впервые познакомились с Дриффилдами в Блэкстебле, верно? Вы можете рассказать нам, что за человек этот Лорд Джордж Кемп. Эдуард сказал, что он из Блэкстебла.

— Он средних лет, у него жена и двое детей. Мои ровесники.

— Но я не могу понять, кто он такой. Я не нашла его в справочнике Дебретта.

Я чуть не рассмеялся.

— О, на самом деле он не лорд. Он местный торговец углем. В Блэкстебле его зовут Лорд Джордж потому, что он очень важный. Это просто шутка.

— Причуды буколического юмора нередко с трудом доступны непосвященным, — заметил Олгуд Ньютон.

— Мы все должны помочь дорогому Эдуарду, чем можем, — сказала миссис Бартон Траффорд. Ее глаза задумчиво остановились на мне. — Если Кемп сбежал с Рози Дриффилд, он, вероятно, ушел от своей жены.

— Вероятно, — ответил я.

— Вы не можете оказать одну услугу?

— Конечно, если это в моих силах.

— Не съездите ли вы в Блэкстебл и не выясните ли, что на самом деле произошло? Мне кажется, нам надо было бы связаться с его женой.

Я никогда не любил совать нос в чужие дела.

— Не знаю, смогу ли я это сделать, — отвечал я.

— Разве вы не можете с ней встретиться?

— Нет.

Если миссис Бартон Траффорд сочла мой ответ резким, она этого не показала и только слегка улыбнулась.

— В конце концов, это можно отложить. Самое срочное сейчас — узнать все про Кемпа. Сегодня вечером я попытаюсь увидеться с Эдуардом. Я не могу и подумать о том, чтобы он оставался в этом ужасном доме один. Мы с Бартоном решили привезти его сюда. У нас есть свободная комната, и я устрою так, чтобы он мог здесь работать. Олгуд, вы согласны, что это для него было бы самое лучшее?

— Абсолютно.

— Я не вижу, почему бы ему не остаться здесь на неопределенное время, и уж во всяком случае на несколько недель, а на лето он может уехать вместе с нами. Мы собираемся в Бретань. Я уверена, что ему там понравится. Это будет для него полная перемена, обстановки.

— Вопрос, который нас интересует сейчас, — сказал Бартон Траффорд, устремив на меня свой взгляд, почти столь же добрый, как и у его жены, — состоит в том, поедет ли этот молодой костоправ в Блэкстебл, чтобы выяснить все, что сможет. Мы должны знать, что произошло. Это самое главное.

Бартон Траффорд искупал свой интерес к археологии добродушием и шутливой, даже жаргонной манерой выражаться.

— Он не может отказаться, — сказала его супруга, бросив на меня нежный, умоляющий взгляд. — Вы ведь не откажетесь? Это так важно, и только вы можете нам помочь.

Она, конечно, не подозревала, что мне так же, как и ей, не терпится узнать, что случилось; ей и в голову не могло прийти, какая горькая, ревнивая боль пронзила мое сердце.

— Я не могу оставить больницу раньше субботы, — сказал я.

— Это годится. Очень мило с вашей стороны. Все друзья Эдуарда будут вам благодарны. Когда вы вернетесь?

— Я должен быть в Лондоне в понедельник рано утром.

— Тогда приходите вечером ко мне на чашку чаю. Я буду ждать вас с нетерпением. Слава богу, это улажено. Теперь я должна попытаться разыскать Эдуарда.

Я догадался, что мне пора уходить. Олгуд Ньютон тоже распрощался и вместе со мной спустился вниз.

— Сегодня в нашей Изабел было что-то от Екатерины Арагонской. Это ей необыкновенно идет, — прошептал он, когда дверь за нами закрылась. — Ей представился блестящий случай, и я думаю, что мы можем быть уверены — она его не упустит. Очаровательная женщина, золотое сердце. Venus toute entiere a sa proie attachee.[[10]](#footnote-10)

Я не понял, что он имел в виду; то, что я уже рассказал читателям про миссис Бартон Траффорд, я узнал много позже. Но я сообразил, что он сказал о ней что-то довольно злое и, вероятно, смешное, так что я усмехнулся.

— Полагаю, ваша молодость располагает вас к пользованию тем, что наш добрый Дизраэли неудачно назвал лондонской гондолой?

— Я поеду на автобусе, — ответил я.

— Да? Если бы вы хотели поехать на извозчике, те я собирался попросить вас подвезти меня до дому, но раз вы намерены воспользоваться этим скромным средством передвижения, которое я по своей старомодности все еще предпочитаю называть омнибусом, то я все же взгромозжу свое неуклюжее тело в экипаж.

Он помахал извозчику и протянул мне два мягких пальца.

— Я зайду в понедельник — узнать результаты вашей утонченно-щекотливой миссии, как назвал бы это старина Генри.

## 20

Но прошло много лет, прежде чем я снова увиделся с Олгудом Ньютоном. Приехав в Блэкстебл, я нашел там письмо от миссис Бартон Траффорд (которая позаботилась записать мой адрес) с просьбой — по причинам, которые она объяснит при встрече, не приходить к ней домой, а встретиться с ней в шесть часов в зале ожидания первого класса на вокзале Виктория. Поэтому, как только я в понедельник смог освободиться из больницы, я направился туда и после недолгого ожидания увидел ее. Она приближалась ко мне легкими быстрыми шажками.

— Ну, можете ли вы мне что-нибудь рассказать? Давайте найдем тихий уголок и присядем.

Мы отыскали себе место.

— Я должна объяснить, почему пригласила вас сюда, — сказала она. — У меня живет Эдуард. Сначала он не хотел, я его едва уговорила. Но он нервничает, болен и раздражителен. Мне не хотелось бы, чтобы он вас видел, и я решила не рисковать.

Я вкратце рассказал миссис Траффорд то, что узнал; она внимательно слушала, время от времени кивая головой. Но я при всем желании не сумел бы дать ей почувствовать то смятение, какое застал в Блэкстебле. Город был вне себя от возбуждения. Много лет здесь не случалось ничего столь захватывающего, и никто больше ни о чем и говорить не мог. Шалтай-Болтай упал со стены! Лорд Джордж Кемп сбежал! С неделю назад он объявил, что собирается в Лондон по делу, а два дня спустя против него было возбуждено дело о банкротстве. Оказалось, что его строительная деятельность была неудачной, его попытки превратить Блэкстебл в модный морской курорт не встретили поддержки, и ему пришлось добывать деньги всеми доступными способами. По городку ходили всевозможные слухи. Множество людей скромного достатка, доверивших ему свои сбережения, теперь потеряли все, что у них было. Подробности были довольно туманными, потому что ни мой дядя, ни тетя ничего не понимали в делах, а я тоже не разбирался в них достаточно, чтобы понять, о чем они рассказывали. Но дом Джорджа Кемпа был заложен, а его имущество должны были продать с молотка. Жена его осталась без гроша. Двое сыновей, один двадцати, другой двадцати одного года, были партнерами его углеторговой фирмы, но и ее коснулось общее разорение. Джордж Кемп скрылся со всеми наличными деньгами, какие только мог собрать, — примерно с полутора тысячами фунтов, как мне сказали, хотя я и не мог понять, откуда это стало известно; говорили также, что есть приказ о его аресте. Предполагали, что он уехал за границу: одни называли Канаду, другие — Австралию.

— Надеюсь, что его поймают, — сказал дядя. — Его надо бы отправить на пожизненную каторгу.

Все были возмущены. Прощения ему не было — потому что он всегда был таким шумным и жизнерадостным, потому что он подшучивал над ними, угощал их и устраивал для них приемы, потому что ездил в такой шикарной тележке и так лихо заламывал свою коричневую мягкую шляпу. Но самое ужасное рассказал моему дяде воскресным вечером после богослужения в ризнице церковный староста. Последние два года Лорд Джордж почти каждую неделю встречался в Хэвершеме с Рози Дриффилд, и они вместе проводили ночь в гостинице. Хозяин ее вложил деньги в одно из сумасшедших предприятий Лорда и разболтал все, обнаружив, что деньги пропали. Он бы еще смирился, если бы Лорд Джордж надул других, но тот надул и его, хоть и прибегал к его помощи и считал его своим приятелем, — это было уж слишком.

— Я думаю, они сбежали вместе, — сказал дядя.

— Я бы не удивился, — сказал староста.

После ужина, пока горничная убирала со стола, я зашел на кухню поболтать с Мэри-Энн. Она тоже была в церкви и слышала эту историю. Не думаю, чтобы прихожане с большим вниманием слушали проповедь моего дяди.

— Дядя говорит, они сбежали вместе, — сообщил я. О том, что было мне известно, я не проронил ни слова.

— Ну конечно же! — ответила Мэри-Энн. — Он один только ей и нравился. Стоило ему только пальцем поманить, и она бросила бы кого угодно.

Я опустил глаза. Меня мучила горькая обида; я был зол на Рози и считал, что она поступила со мной очень нехорошо.

— Мы уж, наверное, ее больше не увидим, — сказал я, почувствовав при этих словах внезапную боль в сердце.

— Да уж наверное, — весело ответила Мэри-Энн.

Когда я рассказал миссис Бартон Траффорд ту часть всей этой истории, которую ей, по моему мнению, следовало знать, она вздохнула — но я не понял, с грустью или с удовлетворением.

— Ну что ж, во всяком случае, с Рози на этом покончено, — сказала она, встала и протянула мне руку. — И почему все эти литераторы так неудачно женятся? Очень, очень жаль. Большое спасибо за то, что вы сделали. Теперь мы знаем, как обстоит дело. Самое главное — чтобы это не помешало Эдуарду работать.

Ее замечания показались мне несколько бессвязными. Не сомневаюсь, что на меня она не обращала ни малейшего внимания. Мы вышли на улицу, и я посадил ее в автобус, шедший по Кингз-роуд, а потом пешком направился домой.

## 21

Я потерял связь с Дриффилдом. Разыскивать его я стеснялся; кроме того, я был занят экзаменами, а когда сдал их, уехал за границу. Смутно припоминаю, что как-то видел в газете сообщение о его разводе с Рози. Больше ничего о ней слышно не было. Ее мать время от времени получала небольшие суммы денег — по десять, двадцать фунтов. Они приходили в конвертах с нью-йоркским штемпелем, но обратный адрес указан не был, никаких писем не было тоже, и считалось, что они приходят от Рози, только потому, что больше некому было посылать деньги миссис Гэнн. Потом мать Рози в преклонном возрасте умерла, и можно предположить, что известие об этом как-то дошло до Рози, потому что деньги приходить перестали.

## 22

Мы встретились с Элроем Киром, как и договорились, в пятницу на вокзале Виктория незадолго до отправления поезда 5:10 на Блэкстебл. Мы с удобством расположились друг против друга в купе для курящих. Теперь я наконец узнал от него в общих чертах, что произошло с Дриффилдом после того, как сбежала его жена. Со временем Рой очень близко сошелся с миссис Бартон Траффорд. Зная его и помня ее, я понял, что это было неизбежно. Я не удивился, услышав, что он вместе с ней и с Бартоном путешествовал по континенту, целиком разделяя их страстное восхищение Вагнером, картинами постимпрессионистов и архитектурой барокко. Он аккуратно обедал у них в Челси, а когда преклонные годы и слабеющее здоровье не позволили миссис Траффорд покидать свою гостиную, он, несмотря на крайнюю занятость, регулярно раз в неделю приходил посидеть с ней. У Роя было доброе сердце. После ее смерти он написал о ней очень прочувствованную статью, в которой отдал должное ее чуткости и прозорливости.

Я с удовлетворением подумал, что за свою доброту он неожиданно оказался вознагражден по справедливости: миссис Бартон Траффорд много рассказала ему об Эдуарде Дриффилде, и это не могло не пригодиться ему в работе над книгой, которой он был сейчас занят. Когда после бегства жены Эдуард Дриффилд находился в таком состоянии, какое Рой мог описать только французским словом desempare,[[11]](#footnote-11) — миссис Бартон Траффорд не только мягко настояла на том, чтобы он переехал к ним, но и убедила его прожить у них почти год. Она проявила к нему любовную заботливость, неисчерпаемую доброту и мудрую чуткость подруги, сочетающей женский такт с мужской энергией и золотое сердце с безошибочной оценкой ситуации. Здесь, у нее, он окончил свой роман «По плодам их». Она с полным правом считала этот роман своей книгой, а то, что он был ей посвящен, показывает, что Дриффилд сознавал, насколько он ей обязан. Она возила Дриффилда в Италию (конечно, с Бартоном: миссис Траффорд слишком хорошо знала злокозненность человеческой натуры, чтобы дать пищу для сплетен) и там с томиком Рескина в руке раскрывала перед ним бессмертную красоту этой страны. Потом она подыскала ему комнаты в Темпле и там, очень мило выступая в качестве хозяйки, устраивала небольшие обеды, на которые он мог приглашать людей, привлеченных его растущей известностью.

Нужно признать, что этой растущей известностью он был во многом обязан ей. Слава пришла к нему только в последние годы его жизни, когда он уже давно перестал писать, но основы ее были, несомненно, заложены неустанными усилиями миссис Траффорд. Она не только вдохновила (а может быть, отчасти и написала: у нее было бойкое перо) статью, которую Бартон в конце концов представил в «Куортерли» и в которой впервые говорилось, что Дриффилда следует поставить в один ряд с мастерами английской литературы — она еще и организовывала хороший прием каждой выходящей его книге. Она везде бывала, встречалась с редакторами и, что еще важнее, с владельцами влиятельных изданий; она давала вечера, на которые приглашала каждого, кто мог оказаться полезным. Она заставляла Эдуарда Дриффилда читать отрывки из своих произведений на благотворительных собраниях в домах самых высокопоставленных персон; она следила за тем, чтобы его фотография появлялась в иллюстрированных еженедельниках; она лично просматривала каждое интервью, которое он давал. В течение десяти лет она была неутомимым литературным агентом. Она упорно держала его в центре внимания публики.

Миссис Бартон Траффорд наслаждалась вовсю. Но она оставалась верна себе. Приглашать его в гости одного, без нее, было бесполезно: он отказывался. А когда на какой-нибудь обед приглашали ее, Бартона и Дриффилда, они и приезжали вместе, и уезжали вместе. Она ни на минуту не спускала с него глаз. Хозяйки могли приходить в ярость, но им предоставлялось только мириться с этим. Как правило, они мирились. Если миссис Бартон Траффорд случалось быть немного не в духе, это проявлялось только через него: сама она оставалась очаровательной, а Эдуард Дриффилд становился необычно резок. Но она прекрасно знала, как его расшевелить, и, когда общество было достаточно изысканным, умела заставить его блистать. С ним она вела себя безукоризненно. Она не скрывала от него своего убеждения, что он — величайший писатель современности; она не только за глаза неизменно называла его мастером, но и в глаза всегда так к нему обращалась, и это звучало, может быть, отчасти шутливо, но лестно. Некоторую игривость она сохранила до самого конца.

А потом произошло нечто ужасное. Дриффилд схватил воспаление легких и был серьезно болен; некоторое время его даже считали безнадежным. Миссис Бартон Траффорд делала все, что могла сделать такая женщина, и с радостью ухаживала бы за ним сама, но ей было уже за шестьдесят и здоровье не позволяло — пришлось нанять профессиональных сиделок. Когда в конце концов он поправился, доктора рекомендовали ему пожить за городом и, поскольку он был все еще очень слаб, настояли на том, чтобы с ним поехала сиделка. Миссис Траффорд хотела, чтобы он отправился в Борнмут, куда она могла бы каждую неделю приезжать к нему и присматривать, чтобы все было в порядке, но Дриффилду нравился Корнуолл, и доктора согласились, что мягкий климат Пензанса будет ему полезен. Можно было бы ожидать, что женщина, наделенная тонкой интуицией Изабел Траффорд, почувствует приближающееся несчастье; но нет — она его отпустила. Она внушила сиделке, что возлагает на нее серьезную ответственность, что ее заботам поручается если не будущее английской литературы, то, по крайней мере, жизнь и благополучие самого выдающегося из ее живых представителей — сокровище, не имеющее цены.

Три недели спустя Эдуард Дриффилд сообщил ей в письме, что женился на своей сиделке.

Я думаю, еще никогда миссис Бартон Траффорд не проявляла столь выдающимся образом величие своей души. Кричала ли она «Иуда! Иуда!»? Рвала ли на себе волосы, катаясь по полу и колотя ногами в истерике? Кидалась ли на кроткого ученого Бартона, называя его презренным старым идиотом? Поносила ли неверность мужчин и распущенность женщин или изливала свои оскорбленные чувства, выкрикивая во весь голос те непристойности, с которыми, как уверяют нас психиатры, ко всеобщему удивлению, оказываются знакомы чистейшие из женщин? Нет, нет и нет. Она написала Дриффилду очаровательное поздравление, а его новоиспеченной супруге — письмо, где выражала свою радость при мысли, что у нее теперь будет два любимых друга, а не один. Она умоляла их обоих после возвращения в Лондон пожить у нее. Она рассказывала каждому встречному и поперечному, что эта женитьба сделала ее очень-очень счастливой, потому что Эдуард скоро уже будет стар, и нужно, чтобы кто-нибудь за ним ухаживал — а кто может делать это лучше больничной сиделки? Она ни разу не произнесла худого слова о новой миссис Дриффилд, а только хвалила ее. «Она не очень красива, — говорила миссис Бартон Траффорд, — но лицо у нее очень приятное. Конечно, она не то чтобы настоящая леди, но Эдуарду было бы только не по себе с какой-нибудь очень знатной дамой. Это как раз такая жена, какая ему нужна». По-моему, будет вполне справедливо сказать, что миссис Бартон Траффорд просто источала бальзам доброты и благоволения; и тем не менее сдается, что если когда-либо в бальзам доброты и благоволения была подмешана изрядная доза яда, то это как раз такой случай.

## 23

Когда мы с Роем прибыли в Блэкстебл, его ждал автомобиль — ни нарочито великолепный, ни явно дешевый, а для меня у шофера была записка от миссис Дриффилд с приглашением к завтрашнему обеду. Я сел в такси и поехал в «Медведь и ключ». От Роя я узнал, что на набережной есть новый отель, но я не хотел променять прибежище моей молодости на роскошь цивилизации. Перемены начались еще на станции, которая оказалась не на своем прежнем месте, а дальше по новой дороге; и, конечно, ехать по Хай-стрит на автомобиле было немного странно. Но «Медведь и ключ» не изменился. Он встретил меня с тем же грубоватым равнодушием: у входа никого не было, шофер поставил мой чемодан и уехал: я позвонил, никто не ответил. Я вошел в бар и обнаружил там стриженую девушку, которая читала книгу м-ра Комптона Маккензи. Я спросил ее, нельзя ли мне здесь остановиться. Она бросила на меня слегка обиженный взгляд и сказала, что, наверное, можно, но так как этим всякий ее интерес ко мне был, по-видимому, исчерпан, я вежливо спросил, не покажет ли кто-нибудь комнату. Она встала и, открыв дверь, пронзительно крикнула:

— Кэти!

— Чего? — услышал я.

— Тут одному нужна комната.

Через некоторое время показалась древняя и изможденная женщина в замызганном ситцевом платье, с неряшливой седой прической и провела меня на третий этаж, в очень маленькую грязную комнату.

— Нельзя ли найти что-нибудь получше? — спросил я.

— Коммерсанты всегда здесь останавливаются, — ответила она презрительно.

— А других у вас нет?

— Одиночных нет.

— Тогда дайте двухместную.

— Пойду спрошу у миссис Брентфорд.

Я спустился за ней на второй этаж. Она постучала, ей разрешили войти, и, когда дверь открылась, я увидел плотную женщину с тщательно завитыми седыми волосами. Она читала книгу. Очевидно, все население «Медведя и ключа» интересовалось литературой. Когда Кэти сказала, что номер седьмой меня не устраивает, она равнодушно взглянула на меня.

— Покажи ему номер пятый, — сказала она.

Я начал чувствовать, что несколько поторопился, так высокомерно отклонив приглашение миссис Дриффилд пожить у нее, а потом в приливе сентиментальности отвергнув мудрый совет Роя остановиться в отеле. Кэти снова повела меня наверх и показала мне довольно большую комнату, выходившую на Хай-стрит. Немалую часть ее занимала двуспальная кровать. Окна за последний месяц наверняка ни разу не открывались.

Я сказал, что это подойдет, и спросил, как насчет обеда.

— Можете заказать, что хотите, — сказала Кэти. — У нас здесь ничего нет, но я сбегаю и принесу.

Зная английские харчевни, я заказал жареную рыбу и отбивную. Потом я пошел прогуляться. Дойдя до пляжа, я обнаружил, что там построили эспланаду, а в том месте, где на моей памяти были только продуваемые ветром поля, стоял ряд бунгало и вилл. Но они выглядели грязными и запущенными, и я подумал, что даже столько лет спустя мечта Лорда Джорджа о превращении Блэкстебла в популярный морской курорт не сбылась. По потрескавшемуся асфальту шли какой-то отставной военный и две пожилые дамы. Было невероятно уныло. Резкий ветер нес с моря моросящий мелкий дождь.

Я вернулся в город. Там, между «Медведем и ключом» и «Герцогом Кентским», несмотря на холодную погоду, кучками стояли люди. Глаза у них были такие же бледно-голубые, а выступающие скулы — такие же багровые, как у их отцов. Странно было видеть, что некоторые моряки в синих фуфайках все еще носят в ухе маленькую золотую серьгу, и не только старики, но и парни, которым едва минуло двадцать. Я побрел по улице. Банк отремонтировали, но писчебумажный магазин, где я когда-то покупал бумагу и воск, чтобы снимать оттиски вместе со случайно мною встреченным никому не известным писателем, не изменился. Рядом появилось два или три кинематографа, и их кричащие афиши неожиданно придали чинной улице разгульный вид, сделав ее похожей на респектабельную пожилую даму, хлебнувшую лишнего.

В столовой, где я в одиночестве съел свой обед за обширным столом, накрытым на шестерых, было холодно и безрадостно. Прислуживала грязнуха Кэти. Я спросил, нельзя ли зажечь камин.

— В июне? Нет, — ответила она. — Мы кончаем топить в апреле.

— Я заплачу, — возразил я.

— В июне? Нет. В октябре — пожалуйста, а в июне — нет.

Кончив обедать, я пошел в бар выпить стакан портвейна.

— Очень тихо здесь, — сказал я стриженой буфетчице.

— Да, очень тихо, — ответила она.

— Я думал, в пятницу вечером у вас могло бы быть много народу.

— Да, могло бы быть, верно.

Из задней комнаты вышел плотный, краснощекий человек с короткими седыми волосами, и я догадался, что это хозяин.

— Не вы ли будете мистер Брентфорд? — спросил я.

— Да, я.

— Я знавал вашего отца. Не хотите ли стаканчик портвейна?

Я сказал ему свое имя, которое в дни его детства было в Блэкстебле известно лучше любого другого, но, к некоторому моему смущению, увидел, что оно ничего ему не говорит. Правда, он согласился принять предложенный мною стакан портвейна.

— По делу сюда? — спросил он. — Тут у нас частенько бывают деловые люди. Мы всегда стараемся сделать для них, что можем.

Я сказал ему, что приехал повидаться с миссис Дриффилд, и предоставил ему гадать зачем.

— Я старика часто видел, — сказал мистер Брентфорд. — Он очень любил заглянуть сюда и выпить свой стаканчик пива. Заметьте, я не говорю, что он когда-нибудь напивался, — просто любил посидеть в баре и поговорить. Можете мне поверить, он был готов разговаривать часами, все равно с кем. Миссис Дриффилд очень не нравилось, что он сюда ходит. Он никому дома не говорил, куда идет, просто уходил и ковылял сюда. Это, знаете, не маленькая прогулка для человека в таком возрасте. Конечно, когда там спохватывались, миссис Дриффилд знала, куда он пошел, и звонила сюда, не здесь ли он. Потом она приезжала на автомобиле и шла к моей жене. «Приведите его, миссис Брентфорд, — говорила она, — я не хочу сама показываться в баре, там столько этих мужчин». Миссис Брентфорд приходила и говорила: «Ну-ка, мистер Дриффилд, за вами приехала миссис Дриффилд на машине, так что вы лучше допивайте свое пиво и поезжайте с ней домой». Он просил миссис Брентфорд не говорить, что он здесь, когда миссис Дриффилд звонит, но мы, конечно, не могли так делать. Все-таки он был старик, и все такое, и мы не хотели брать на себя ответственность. Он, знаете, родился в этом приходе, и его первая жена была из Блэкстебла. Она уж много лет как умерла. Я никогда ее не знал. Чудной он был старикан. Я не хочу ничего сказать — говорят, в Лондоне его превозносили до небес, и, когда он умер, газеты только о нем и писали; но по его разговорам вы бы никогда об этом не догадались. Как будто он просто никто, ну как мы с вами. Конечно, мы всегда старались, чтобы ему было хорошо; усаживали его вон туда, в кресла, но нет, он хотел сидеть у стойки: говорил, что ему нравится чувствовать под ногами перекладину. По-моему, здесь ему было лучше, чем где-нибудь еще. Он всегда говорил, что любит сидеть в барах. Он говорил, что в них можно видеть настоящую жизнь, а жизнь он всегда любил, говорил он. Чудной был человек. Напоминал мне моего отца — только папаша за всю жизнь ни одной книги не прочел, и выпивал в день по бутылке французского коньяка, и умер в семьдесят восемь лет, а до того ни разу не болел. Очень жалко было старого Дриффилда, когда он помер. Я только вчера говорю миссис Брентфорд — надо бы как-нибудь прочесть какую-нибудь его книгу. Говорят, он о здешних местах несколько книг написал.

## 24

Следующее утро было холодное и ветреное, но дождя не было, и я направился по Хай-стрит к дому священника. Я узнавал имена на вывесках — кентские имена, переходившие из поколения в поколение веками, все эти Гэнны, Кемпы, Коббзы, Иггалдены, — но ни одного знакомого человека не встретил. Шагая по этой улице, где я когда-то был знаком почти с каждым — а если с кем и не был, то уж в лицо знал всех, — я почувствовал себя каким-то призраком. Вдруг мимо меня проехал очень старый маленький автомобиль, затормозил, дал задний ход, и я увидел, что кто-то с любопытством на меня смотрит. Из машины вышел высокий, толстый пожилой человек и направился ко мне.

— Вы не Уилли Эшенден? — спросил он.

И тут я вспомнил его. Это был сын доктора, я с ним учился в школе. Мы вместе переходили из класса в класс, и я слышал, что он унаследовал у отца его практику.

— Ну, как дела? — спросил он. — Я только что был в доме священника, навещал своего внука. Там теперь начальная школа, я его отдал туда в этом году.

Он выглядел потрепанным и неухоженным, но у него было прекрасное лицо, и я видел, что в молодости он, наверное, отличался необыкновенной красотой. Странно, что я этого никогда не замечал.

— Ты уже дедушка? — спросил я.

— Уже трижды, — засмеялся он.

Мне стало не по себе. Он родился, научился ходить, потом стал взрослым, женился, имел детей, и они, в свою очередь, имели детей; судя по его виду, он жил в непрестанной работе, в нужде. У него была особая манера поведения, свойственная сельским врачам, — грубоватая, добродушная и покровительственная. Он свою жизнь уже прожил. Я обдумывал планы новых книг и пьес, был полон надежд на будущее и чувствовал, что впереди у меня еще много трудов и радостей, — и все равно другим я, наверное, казался таким же пожилым человеком, каким он показался мне. Я был так потрясен, что у меня не хватило духу спросить о его братьях, с которыми я играл мальчишкой, или о своих старых друзьях и после нескольких глупых замечаний с ним распрощался. Потом я пошел дальше к дому священника — просторному, широко раскинувшемуся, слишком уединенно расположенному для его нынешнего хозяина, который относился к своим обязанностям серьезнее, чем мой дядя, и слишком большому по нынешней стоимости жизни. Дом стоял в большом саду среди зеленых полей. Большая квадратная вывеска у входа гласила, что здесь помещается начальная школа для сыновей джентльменов, и на ней стояли имя и ученые степени директора. Я заглянул через изгородь; сад был запущен и грязен, а пруд, где я когда-то ловил плотву, весь зарос. Церковная земля была поделена на участки для застройки, на ней появились шеренги маленьких кирпичных домиков и неровные, плохо замощенные дороги. Я пошел до Джой-лейн, и там тоже стояли дома — бунгало, обращенные к морю; а в старой сторожке у заставы помещалась нарядная кондитерская.

Я побродил вокруг. Бесчисленные улицы были застроены маленькими домиками из желтого кирпича, но кто там жил, я не знаю, потому что никого не было видно. Я спустился в гавань. Она была пуста. Неподалеку от пирса стоял только один грузовой пароход. У пакгауза сидели два-три моряка, и, когда я проходил мимо, они уставились на меня. Торговля углем пришла в упадок, и угольщики больше не заходили в Блэкстебл.

Мне было уже пора отправляться в Ферн-Корт, и я вернулся в гостиницу. Хозяин говорил мне, что отдает напрокат «даймлер», и мы тогда же условились, что я поеду на нем. Теперь, когда я подошел, машина стояла у дверей. Это был двухместный лимузин, но такой старый и разбитый, что я еще никогда не видел ничего подобного. По дороге он пыхтел, кашлял, дребезжал и задыхался, время от времени сердито дергаясь, и я сильно сомневался, что доеду до цели. Но что удивительнее всего — в нем стоял точно такой же запах, как и в старом ландо, которое нанимал каждое воскресное утро мой дядя, чтобы ехать в церковь. Это был кислый запах конюшни и гнилой соломы, лежавшей на дне экипажа; я никак не мог понять, откуда спустя столько лет этот запах мог появиться в автомобиле. Но ничто так не пробуждает воспоминания, как запах, и, забыв обо всем вокруг, я снова почувствовал себя маленьким мальчиком, сидящим на переднем сиденье рядом с блюдом для причастия, напротив тети, слегка пахнущей чистым бельем и одеколоном, в черном шелковом плаще и маленьком капоре с пером, и дяди в сутане, с широкой шелковой лентой вокруг обширной талии и с золотым крестом на золотой цепи, болтавшимся у него на животе.

— Не забудь, Уилли, ты должен вести себя хорошо. Не вертись и сиди как следует. В доме господнем не подобает разваливаться на скамье. Тебе следует помнить, что нужно подавать пример другим мальчикам, которые не получили такого воспитания.

Когда я приехал в Ферн-Корт, миссис Дриффилд и Рой гуляли в саду и, как только я вышел из машины, подошли ко мне.

— Я показывала Рою свои цветы, — сказала миссис Дриффилд, подавая мне руку, а потом добавила со вздохом: — Это единственное, что у меня теперь осталось.

Она выглядела не старше, чем в последний раз, когда я ее видел, лет шесть назад. Свой траур она носила со спокойным достоинством. На шее у нее был белый шелковый воротничок, а на запястьях — такие же манжеты. Я заметил, что Рой надел к своему аккуратному синему костюму черный галстук — вероятно, в знак уважения к знаменитому покойнику.

— Я только покажу вам свои цветочные бордюры, — сказала миссис Дриффилд, — а потом мы пойдем обедать.

Пока мы ходили по саду, Рой демонстрировал свои познания. Он с первого взгляда узнавал любой цветок, и латинские названия слетали у него с языка, как сигареты вылетают из заверточной машины. Он высказывал свое восхищение одними сортами и сообщал миссис Дриффилд, где она может достать другие, которые обязательно должна у себя завести.

— Пройдем через кабинет Эдуарда? — предложила миссис Дриффилд. — Я сохраняю его в точности таким, как при его жизни. Я ничего не меняла. Просто удивительно, сколько людей приезжает сюда посмотреть дом, и, конечно, все хотят видеть комнату, где он работал.

Мы вошли через открытую стеклянную дверь. На письменном столе красовалась ваза с розами, а на маленьком круглом столике у кресла — комплект «Спектэйтора». Трубки хозяина лежали в пепельницах, а чернильница была полна чернил. Вся обстановка была воспроизведена безукоризненно. Не знаю, почему комната казалась какой-то мертвой — в ней уже стояла музейная затхлость. Миссис Дриффилд подошла к книжным полкам и с полушутливой, полугрустной улыбкой быстро провела рукой по темно-синим корешкам нескольких томиков.

— Вы знаете, как высоко ценил Эдуард ваше творчество, — сказала миссис Дриффилд. — Он часто перечитывал ваши книги.

— Очень приятно об этом слышать, — ответил я вежливо.

Я прекрасно знал, что в последний мой приезд их тут не было, и, небрежно взяв одну из них, провел пальцами по верхнему обрезу, чтобы посмотреть, есть ли на нем пыль. Пыли не было. Потом я взял еще одну книгу — Шарлотту Бронте — и, продолжая разговор, проделал тот же эксперимент. Нет, пыли не было и здесь. Мне удалось узнать только то, что миссис Дриффилд — прекрасная хозяйка и что у нее добросовестная горничная.

Мы пошли обедать — эта была добрая английская трапеза, ростбиф и йоркширский пудинг, — и за столом говорили о работе, которой был занят Рой.

— Я хочу избавить дорогого Роя от лишнего труда, — сказала миссис Дриффилд, — и сама собираю весь материал, какой могу. Конечно, это не очень радостно, но зато интересно. Я разыскала множество старых фотографий, которые должна вам показать.

После обеда мы перешли в гостиную, и я опять обратил внимание на то, с каким удивительным тактом миссис Дриффилд ее обставила. Для вдовы видного писателя эта комната подходила чуть ли не лучше, чем для его жены. Дорогие ситцы, вазы с ароматными сухими лепестками, фигурки из дрезденского фарфора — все создавало какую-то неуловимую атмосферу печали; казалось, эти вещи погружены в раздумья о великом прошлом. День был холодный, и я с удовольствием погрелся бы у камина, но англичане не только привержены к традициям, но и выносливы, а придерживаться своих принципов за счет чужих удобств не так уж трудно. Вряд ли миссис Дриффилд могло бы прийти в голову растопить камин раньше первого октября.

Она спросила меня, видел ли я в последнее время ту даму, которая привела меня к Дриффилдам на обед, и по едва заметной резкости в ее тоне я сделал вывод, что после смерти ее знаменитого мужа высшее общество проявило явное нежелание иметь с ней дело.

Мы приступили к беседе о покойном; Рой и миссис Дриффилд искусно задавали вопросы, чтобы побудить меня выложить все, что я помню, а я держался настороже, чтобы по неосторожности не сболтнуть что-нибудь такое, что решил держать при себе, — как вдруг аккуратная горничная принесла на небольшом подносе две визитные карточки.

— Два джентльмена на машине, мэм, спрашивают, нельзя ли им посмотреть дом и сад.

— Какая тоска! — воскликнула миссис Дриффилд, но в голосе ее прозвучала необыкновенная готовность. — Забавно, правда? Я ведь только что говорила вам о людях, которые хотят посмотреть дом. У меня нет ни минуты покоя.

— Так почему бы не сказать, что вы просите прощения, но не можете их принять? — спросил Рой, как мне показалось, не без ехидства.

— О, это невозможно. Эдуард этого бы не одобрил.

Она взглянула на карточки.

— У меня нет при себе очков.

Она протянула карточки мне. На одной я прочел: «Генри Бэрд Мак-Дугал, Университет штата Виргиния», и карандашом было приписано: «Преподаватель кафедры английской литературы». На другой стояло: «Жан-Поль Андерхилл», и внизу нью-йоркский адрес.

— Американцы, — сказала миссис Дриффилд. — Скажите, что я буду очень рада, если они зайдут.

Вскоре горничная ввела незнакомцев. Это были высокие широкоплечие молодые люди с тяжелыми, бритыми, смуглыми лицами и приятными глазами; оба носили роговые очки и зачесывали назад густые черные волосы. На обоих были английские костюмы — явно с иголочки; оба несколько стеснялись, но оказались разговорчивыми и крайне вежливыми. Они объяснили, что совершают литературную поездку по Англии, и, будучи почитателями Эдуарда Дриффилда, взяли на себя смелость по пути в Рай, где собирались посетить дом Генри Джеймса, остановиться здесь в надежде, что им будет позволено увидеть место, с которым связано так много ассоциаций. Это упоминание о Рае не очень понравилось миссис Дриффилд.

— Кажется, там очень хорошие площадки для гольфа, — сказала она.

Она познакомила американцев с Роем и со мной. Рой меня просто восхитил: он проявил себя с самой лучшей стороны. Оказалось, что он читал лекции в Университете штата Виргиния и жил у одного видного тамошнего ученого, о чем навсегда сохранит приятнейшие воспоминания, Он не знает, что произвело на него большее впечатление: щедрое гостеприимство, которое оказали ему эти очаровательные виргинцы, или же их глубокий интерес к искусству и литературе. Он спросил, как поживают такой-то и такой-то; он завел там несколько друзей на всю жизнь и встречался, похоже, только с хорошими, умными и добрыми людьми. Вскоре молодой преподаватель уже рассказывал, как ему нравятся книги Роя, а Рой скромно объяснял ему, какие цели ставил перед собой в той или другой из них и как хорошо видит, насколько далек оказался от их осуществления. Миссис Дриффилд слушала, сочувственно улыбаясь, но мне показалось, что ее улыбка стала чуточку натянутой. Может быть, так показалось и Рою, потому что он внезапно прервал свою речь.

— Но я не хочу надоедать вам со своей писаниной, — сказал он, как всегда, громко и добродушно. — Я здесь только потому, что миссис Дриффилд доверила мне великую честь создания биографии Эдуарда Дриффилда.

Это, разумеется, очень заинтересовало гостей.

— Поверьте, это прорва работы, — сказал Рой, шутливо ввернув чисто американское словцо. — К счастью, мне помогает миссис Дриффилд, которая была не только идеальной женой, но и великолепным личным секретарем; материалы, которые она предоставила в мое распоряжение, так удивительно полны, что мне на самом деле почти ничего не остается, кроме как воспользоваться ее трудолюбием и ее... ее искренним рвением.

Миссис Дриффилд скромно потупилась, а оба молодых американца обратили к ней свои большие темные глаза, в которых можно было прочесть сочувствие, интерес и уважение. Поговорив еще немного — отчасти о литературе, а отчасти все-таки о гольфе (гости признались, что в Рае надеются разок-другой сыграть, и тут Рой снова оказался на высоте, посоветовал им не зевать на такой-то и такой-то лунке и выразил надежду, что, вернувшись в Лондон, они сыграют с ним в Санингдейле), — миссис Дриффилд встала и предложила показать им кабинет и спальню Эдуарда и, конечно, сад. Рой поднялся, очевидно, собираясь сопровождать их, но миссис Дриффилд слегка улыбнулась ему — ласково, но решительно.

— Не трудитесь, Рой, — сказала она. — Я проведу их. А вы останьтесь и поговорите с мистером Эшенденом.

— О, хорошо. Конечно.

Гости попрощались с нами, и мы с Роем опять уселись в ситцевые кресла.

— Приятная комната, — сказал Рой.

— Очень.

— Эми это нелегко досталось. Вы знаете, старик купил этот дом за два-три года до того, как они поженились. Она пыталась уговорить его продать дом, но он не хотел. Он иногда бывал очень упрям. Видите ли, дом когда-то принадлежал некой мисс Вулф, у которой его отец служил управляющим, и он говорил, что еще мальчишкой только и мечтал сам владеть этим домом, и теперь, когда его приобрел, с ним не расстанется. Можно было бы ожидать, что ему меньше всего захочется жить в таком месте, где все знали о его скромном происхождении и обо всем прочем. Как-то бедняжка Эми чуть было не наняла одну горничную, и вдруг оказалось, что это внучатая племянница Эдуарда. Когда Эми сюда приехала, дом был от подвала до чердака обставлен в наилучших традициях Тоттенхэм-Корт-роуд: вы себе представляете — турецкие ковры, шкафы красного дерева, плюшевый гарнитур в гостиной и современные инкрустации. Он был убежден, что дом джентльмена должен выглядеть именно так. Эми говорит, что это было просто ужасно. Он не давал ей ничего менять, и ей пришлось браться за дело с чрезвычайной осторожностью; она говорит, что просто не могла бы жить в таком доме и твердо решила привести его в приличный вид, но заменять вещи ей пришлось по одной, чтобы Дриффилд ничего не заметил. Она говорила, что труднее всего было с его письменным столом. Не знаю, обратили ли вы внимание на тот, который сейчас стоит у него в кабинете. Очень хороший старинный стол, я бы сам от такого не отказался. Так вот, прежде у него было ужасное американское бюро с задвижной крышкой. Он пользовался им уже много лет, написал за ним десяток книг и слышать не хотел о том, чтобы с ним расстаться. В мебели он ничего не понимал, а к бюро был привязан просто потому, что оно у него так долго стояло. Обязательно попросите Эми рассказать, как она в конце концов от этого бюро избавилась. Великолепная история. Знаете, это удивительная женщина — она почти всегда добивается своего.

— Я уже заметил, — сказал я. Она очень быстро отделалась от Роя, когда тот проявил желание сопровождать гостей по дому.

Рой взглянул на меня и рассмеялся. Он всегда был неглуп.

— Вы не знаете американцев так, как я, — сказал он. — Они всегда предпочитают живую мышь мертвому льву. Это одна из причин, почему я люблю Америку.

## 25

Когда миссис Дриффилд, спровадив пилигримов, вернулась, у нее под мышкой был портфель.

— Какие милые молодые люди! — сказала она. — Вот бы английской молодежи так интересоваться литературой. Я подарила им тот снимок Эдуарда, где он в гробу, а они попросили мою фотографию, и я им ее надписала.

Потом она очень любезно заметила:

— Вы, Рой, произвели на них большое впечатление. Они сказали, что были очень рады познакомиться с вами.

— Я прочел в Америке много лекций, — скромно сказал Рой.

— Да, но они знают ваши книги. Они говорят, больше всего им нравится то, что ваши книги такие мужественные.

В портфеле хранилось множество старых фотографий: группы школьников, среди которых я узнал в растрепанном мальчишке Дриффилда только после того, как на него указала вдова; команды регбистов, где Дриффилд был уже немного постарше, и одна фотография молодого матроса в фуфайке и бушлате — это был Дриффилд, когда он убежал из дома.

— Вот это он снимался, когда в первый раз женился, — сказала миссис Дриффилд.

Его украшали борода и брюки в белую и черную клетку; в петлице у него была большая белая роза на фоне листьев папоротника, а рядом на столе лежал цилиндр.

— А вот и новобрачная, — сказала миссис Дриффилд, стараясь сдержать улыбку.

Бедняжка Рози, запечатленная деревенским фотографом больше сорока лет назад, выглядела нелепо. Она стояла в неловкой позе на фоне какого-то замка, держа в руках большой букет; складки на ее платье с перехватом в талии были тщательно расправлены, а сзади был турнюр. Челка спускалась до самых глаз. На голове у нее поверх высокой прически был приколот венок из флердоранжа, от него спускалась назад длинная фата. Только я знал, как она, наверное, была прелестна.

— На вид она страшно вульгарна, — сказал Рой.

— Такой она и была, — подтвердила миссис Дриффилд.

Мы увидели еще много портретов Эдуарда: фотографии, снятые, когда он начал пользоваться известностью, снимки с усами и более поздние, без усов и бороды. Его лицо понемногу худело, на нем появлялись морщины. Упрямая банальность ранних портретов постепенно переходила в усталую утонченность. Было видно, как изменяют его жизненный опыт, раздумья и успех. Я снова взглянул на фотографию молодого матроса, и мне показалось, что я уже вижу в ней намек на ту отчужденность, которая так бросилась мне в глаза на более поздних фотографиях и которую я смутно ощутил в нем самом много лет назад. Его лицо было просто маской, а поступки не имели никакого значения. Мне подумалось, что подлинная его душа, до самой смерти не распознанная и одинокая, безмолвной тенью сопровождала видимые всем фигуры — автора, написавшего его книги, и человека, прожившего его жизнь, — посмеиваясь с ироническим безразличием над этими двумя марионетками, которые мир принимал за Эдуарда Дриффилда. Я понимаю, что мне не удалось показать его живым человеком из плоти и крови, цельным, с понятными побуждениями и логически оправданными действиями; да я и не пытался — с радостью предоставляю это более ловкому перу Элроя Кира.

Мне попались фотографии Рози, снятые тем актером — Гарри Ретфордом, а потом снимок с его портрета, который написал Лайонел Хильер. У меня сжалось сердце. Вот такой я ее помнил лучше всего. Несмотря на старомодное платье, она казалась живой, трепетала от наполнявшей ее страсти и как будто была готова уступить любовному натиску.

— Похоже, что она была девица в теле, — заметил Рой.

— Да, если такие молочницы в вашем вкусе, — ответила миссис Дриффилд. — Мне она всегда напоминала белую негритянку.

Именно так ее любила называть миссис Бартон Траффорд — толстые губы и широкий нос Рози, к сожалению, придавали этой характеристике некоторое правдоподобие. Но они не знали, какие серебристо-золотые были у нее волосы и какая золотисто-серебряная кожа; они не знали и ее чарующей улыбки.

— Ничуть она не была похожа на белую негритянку, — возразил я. — Она была непорочна, как заря. Она была похожа на Гебу. Она была как чайная роза.

Миссис Дриффилд улыбнулась и многозначительно переглянулась с Роем.

— Миссис Бартон Траффорд мне много о ней рассказывала. Я не хочу злословить, но боюсь, что мне она представляется не такой уж хорошей женщиной.

— Вот тут вы и ошибаетесь, — ответил я. — Она была очень хорошей женщиной. Я никогда не видел ее в плохом настроении. Достаточно было сказать ей, что вы чего-то хотите, как она готова была вам это отдать. Я никогда не слышал, чтобы она о ком-нибудь плохо отозвалась. У нее было золотое сердце.

— Она была ужасная неряха: дома всегда беспорядок, стулья такие пыльные, что страшно садиться, а в углы лучше не заглядывать. И сама она была такая же. Никогда не могла аккуратно надеть платье, вечно сбоку на два дюйма выглядывала нижняя юбка.

— Она не придавала таким вещам большого значения. Они не делали ее менее красивой. И она была столь же добра, как и красива.

Рой расхохотался, а миссис Дриффилд поднесла руку ко рту, чтобы скрыть улыбку.

— О, мистер Эшенден, вы уж слишком. В конце концов, будем называть вещи своими именами — ведь она была нимфоманкой.

— По-моему, это очень глупое слово, — сказал я.

— Ну хорошо, скажем иначе — вряд ли она была такая уж хорошая женщина, если могла так поступать с бедным Эдуардом. Конечно, все вышло к лучшему: если бы она не сбежала от него, ему пришлось бы нести крест до конца своих дней, и с этим бременем он никогда не достиг бы такого положения. Но факт остается фактом: она изменяла ему на каждом шагу. Я слышала, что это было совершенно распутное создание.

— Вы не понимаете, — сказал я. — Она была очень простая женщина. У нее были здоровые и непосредственные инстинкты. Она любила делать людей счастливыми. Она любила любовь.

— Вы называете это любовью?

— Ну хорошо, акт любви. Она была страстной по натуре. Если ей кто-то нравился, для нее было вполне естественно спать с ним. Она об этом даже не задумывалась. Это был не порок и не распущенность — это была ее природа. Она отдавалась так же естественно, как солнце излучает тепло, а цветы — аромат. Это не сказывалось на ее характере: она оставалась искренней, неиспорченной и бесхитростной.

У миссис Дриффилд был такой вид, будто она проглотила ложку касторки и теперь, пытаясь избавиться от ее вкуса, сосет лимон.

— Я этого не понимаю, — сказала она. — Но должна признаться, я никогда не понимала, что Эдуард в ней находил.

— А он знал, что она путается с кем попало? — спросил Рой.

— Уверена, что не знал, — быстро ответила она.

— Вы считаете его большим дураком, чем я, миссис Дриффилд, — сказал я.

— Тогда почему он с этим мирился?

— Думаю, что это я могу объяснить. Видите ли, она была не из таких женщин, которые внушают к себе любовь. Только привязанность. Ее было глупо ревновать. Она была как чистый глубокий родник на лесной поляне — в него божественно приятно окунуться, но он не становится менее прохладным и прозрачным от того, что до вас в нем купались и бродяга, и цыган, и лесник.

Рой снова засмеялся, и на этот раз миссис Дриффилд не скрывала натянутой улыбки.

— Вы очень комичны в таком лирическом настроении, — сказал Рой.

Я подавил вздох. Я заметил, что люди обычно смеются надо мной как раз тогда, когда я серьезнее всего, и в самом деле, перечитывая через некоторое время отрывки, написанные мной от всего сердца, я сам испытываю побуждение смеяться над собой. Наверное, в откровенном чувстве есть что-то нелепое, хотя я не могу себе представить, почему это так, если только сам человек, эфемерный обитатель крохотной планетки, со всеми его горестями и стремлениями, не есть всего лишь шутка вечного разума.

Я видел, что миссис Дриффилд хочет меня о чем-то спросить, и это повергает ее в некоторое замешательство.

— А как вы думаете, принял бы он ее, если бы она захотела вернуться?

— Вы знали его лучше, чем я. По-моему, нет. Я думаю, что, испытав какое-то чувство, он терял интерес к человеку, это чувство вызвавшему. Я бы сказал, что бурные порывы эмоций странно сочетались у него с крайней бессердечностью.

— Не понимаю, как вы можете так говорить, — вскричал Рой. — Это был добрейший человек из всех, кого я знал!

Миссис Дриффилд посмотрела мне в глаза и потупила взгляд.

— А интересно, что случилось с ней после того, как она уехала в Америку, — сказал Рой.

— По-моему, она вышла замуж за Кемпа, — сказала миссис Дриффилд. — Я слышала, что они жили под другой фамилией. Конечно, здесь они больше не показывались.

— Когда она умерла?

— О, лет десять назад.

— Откуда вы знаете? — спросил я.

— От Гарольда Кемпа, его сына; у него какое-то дело в Мейдстоне. Эдуарду я ничего не говорила. Для него она умерла уже много лет назад, и я не видела никакого смысла напоминать ему о прошлом. Всегда полезно поставить себя на место другого, и я сказала себе, что, будь я на его месте, я не хотела бы, чтобы мне напоминали о печальном эпизоде моей юности. Ведь я была права?

## 26

Миссис Дриффилд очень любезно предложила отправить меня назад в Блэкстебл на ее машине, но я предпочел идти пешком. Я обещал на следующий день пообедать в Ферн-Корте, а до тех пор набросать все, что смогу припомнить о тех двух периодах, когда часто виделся с Эдуардом Дриффилдом. Шагая по безлюдной извилистой дороге, я размышлял, что же мне написать. Разве не считается, что стиль — это искусство умолчания? Если это так, то я наверняка напишу прелестную вещицу — просто жаль, что Рой использует ее лишь как сырой материал. Я усмехнулся при мысли, как мог бы их ошарашить, если бы захотел. Я знал, что есть один человек, который мог бы рассказать все, что им было нужно, про Эдуарда Дриффилда и его первую женитьбу, — но я твердо решил ничего им об этом не говорить. Они думали, что Рози нет в живых. Но они ошибались: Рози была жива — живее некуда.

Как-то я поехал в Нью-Йорк, где ставили одну мою пьесу. Мой приезд был широко разрекламирован усилиями энергичного пресс-секретаря моего импресарио. Однажды я получил письмо. Адрес был написан знакомым почерком, но я не мог припомнить, кому он принадлежит. Крупные и округленные буквы, рука твердая, но непривычная много писать — я прекрасно знал этот почерк и очень досадовал, что не могу вспомнить, чей он. Разумнее всего было бы сразу распечатать письмо, но вместо этого я глядел на конверт и мучительно копался в памяти. Бывают почерки, которые я не могу видеть без тревожного содрогания, а некоторые письма выглядят такими нудными, что я по целым неделям не могу заставить себя их распечатать. Когда я наконец разорвал конверт, — то, что я прочел, вызвало у меня какое-то странное чувство. Письмо начиналось без всякого вступления:

*Я только что узнала, что вы в Нью-Йорке, и хотела бы с вами повидаться. Я теперь живу не в Нью-Йорке, но Йонкерс не так уж далеко, и на машине сюда вполне можно добраться за полчаса. Наверное, вы очень заняты, поэтому можете сами назначить время. С тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло много лет, но я надеюсь, что вы не забыли свою старую знакомую*

Роз Иггалден (бывшую Дриффилд).

Я взглянул на адрес. Там стояло «Албемарль» — очевидно, отель или доходный дом, потом была указана улица и город — Йонкерс. Озноб пробежал у меня по спине, как будто кто-то прошел над моей будущей могилой. За все эти годы я иногда думал о Рози, но в последнее время уверил себя, что она наверняка умерла. Некоторое время я размышлял над ее фамилией. Почему Иггалден, а не Кемп? Потом мне пришло в голову, что они взяли эту фамилию — тоже кентскую — когда бежали из Англии. Моим первым побуждением было изобрести какой-нибудь предлог и не встречаться с ней: я всегда стесняюсь встречаться с людьми, которых долгое время не видел. Но потом меня разобрало любопытство. Мне захотелось узнать, какая она сейчас, и услышать, как она жила. В конце недели я собирался в Доббз-Ферри и должен был проехать через Йонкерс, так что я написал в ответ, что зайду часа в четыре в субботу.

«Албемарль» оказался огромным доходным домом, сравнительно новым и, судя по его виду, населенным состоятельными людьми. Негр-привратник доложил обо мне по телефону, другой повез меня на лифте наверх. Я необыкновенно нервничал. Дверь мне открыла негритянка-горничная.

— Пройдите, — сказала она. — Миссис Иггалден ждет вас.

Меня провели в гостиную, которая служила и столовой: в одном углу стоял квадратный дубовый стол, покрытый обильной резьбой, буфет и четыре стула того стиля, который мебельные фабриканты из Грэнд-Рэпидз наверняка называли эпохой Якова I. Зато в другом углу красовался гарнитур в стиле Людовика XV, с позолотой и светло-голубой камчатной обивкой; там было множество маленьких столиков с богатой резьбой и позолотой, на них стояли севрские вазы с украшениями из золоченой бронзы и полуобнаженные бронзовые женщины в одеждах, развевающихся, как на сильном ветру, и искусно прикрывающих те части тела, которые не принято показывать; каждая из них держала в кокетливо простертой руке электрическую лампочку. Граммофон был великолепен — такие я видел только в витринах: весь позолоченный, в виде портшеза, разрисованный кавалерами и дамами на манер Ватто.

Я подождал минут пять, дверь отворилась, и быстро вошла Рози. Она протянула мне обе руки.

— Вот это сюрприз, — сказала она. — Ужас, сколько лет мы не виделись. Извините меня. — Она пошла к двери и крикнула: — Джесси, можешь принести чай. Смотри, чтобы вода как следует кипела.

Потом снова обратилась ко мне:

— Вы не представляете, сколько я мучилась с этой девицей, пока не научила ее как следует заваривать чай.

Рози было по меньшей мере семьдесят. На ней было очень шикарное, очень короткое зеленое шелковое платье без рукавов, обильно украшенное бриллиантами, с квадратным вырезом; оно обтягивало ее туго-натуго. Судя по ее фигуре, она носила резиновый корсет. У нее были кроваво-красные ногти и выщипанные брови. Она располнела, подбородок у нее стал двойной; кожа на груди, несмотря на обильный слой пудры, была красноватая, как и лицо. Но она выглядела здоровой, крепкой и полной энергии. Ее волосы, такие же пышные, как и раньше, но совершенно седые, были коротко острижены и завиты. В молодости они у нее ложились мягкими, естественными волнами, и эти жесткие завитки, как будто только что из парикмахерской, больше всего изменили ее внешность. Единственное, что осталось прежним — улыбка: в ней сохранилась все та же детская, озорная прелесть. Зубы у Рози были когда-то неправильные и некрасивые; но теперь их заменили искусственные — абсолютно ровные и снежно-белые: они явно стоили больших денег.

Негритянка-горничная изящно накрыла стол к чаю, подав сандвичи, домашнее печенье, конфеты, маленькие ножи и вилки, крохотные салфеточки. Все было очень аккуратно и шикарно.

— Никогда не могла обойтись без чая, — сказала Рози, беря горячую булочку с маслом. — А вот это я люблю больше всего, хоть и знаю, что нельзя. Мой доктор всегда говорит: «Миссис Иггалден, вы никогда не похудеете, если будете съедать за чаем по полдюжины булочек».

Она улыбнулась мне, и я вдруг почувствовал, что, несмотря на стриженые волосы, пудру и полноту, передо мной все та же прежняя Рози.

— Но я считаю так: чуточка лакомства не повредит.

Мне всегда было легко с ней говорить. Скоро мы уже болтали, как будто с нашей последней встречи прошло всего несколько недель.

— Вы удивились, когда получили мое письмо? Я подписалась «Дриффилд», чтобы вы знали, от кого оно. Мы взяли фамилию Иггалден, когда переехали в Америку. У Джорджа были кое-какие неприятности, когда он уезжал из Блэкстебла — вы, наверное, слышали, — и он решил, что на новом месте лучше начать под новым именем, понимаете?

Я кивнул.

— Бедный Джордж! Знаете, он умер десять лет назад.

— Очень печально.

— Ну, ведь он был уже старый. Ему перевалило за семьдесят, хоть по нему вы бы этого никак не сказали. Это был для меня большой удар. О таком муже женщина может только мечтать. Ни одного худого слова с самой свадьбы до того дня, когда он умер. И к тому же оставил меня вполне обеспеченной.

— Очень приятно слышать.

— Да, у него здесь дела пошли хорошо. Он занялся строительством — у него всегда была к этому склонность, — и связался с Таммани. Он всегда говорил: самой большой ошибкой в его жизни было то, что он не приехал сюда на двадцать лет раньше. Здесь ему понравилось с самого первого дня. Он всегда был полон энергии — а тут это и нужно. Как раз такие люди тут и процветают.

— А в Англии вы больше не были?

— Нет, никогда не стремилась. Джордж время от времени поговаривал, чтобы проехаться туда ненадолго, но мы так и не собрались, а теперь, когда его уже нет, мне и не хочется. Я думаю, Лондон показался бы мне скучноват после Нью-Йорка. Мы ведь жили в Нью-Йорке — сюда я переехала только после его смерти.

— А почему вы выбрали Йонкерс?

— Ну, мне он всегда нравился. Я говорила Джорджу: когда удалимся от дел, будем жить в Йонкерсе. Он для меня — как кусочек Англии. Мейдстон, или Гилфорд, или что-то в этом роде.

Я улыбнулся, но понял, что она имела в виду. Несмотря на трамваи и автомобильные гудки, несмотря на кинотеатры и электрические рекламы, Йонкерс с его извилистой главной улицей слегка напоминал свихнувшийся английский провинциальный город.

— Конечно, я иногда думала, что там поделывают в Блэкстебле. Скорее всего, сейчас их почти никого и в живых нет, да и они, наверное, тоже считают, что я умерла.

— Я не был там тридцать лет.

Я не знал тогда, что слух о смерти Рози дошел до Блэкстебла. Наверное, кто-нибудь привез известие о смерти Джорджа Кемпа, и вышла путаница.

— Здесь, наверное, никто не знает, что вы были первой женой Эдуарда Дриффилда?

— О нет! Что вы, если бы они знали, тут бы вокруг меня репортеры жужжали, как пчелы. Знаете, я еле удерживаюсь от смеха, когда где-нибудь играю в бридж и начинают говорить о книгах Теда. В Америке его обожают. Я сама никогда не была о нем такого высокого мнения.

— Но вы ведь не очень жаловали романы?

— Мне больше нравилась история, а теперь у меня на книги и времени не остается. Самый лучший день для меня — воскресенье: здесь замечательные воскресные газеты. В Англии нет ничего подобного. И потом я много играю в бридж — просто без ума от него.

Я вспомнил, что, когда мальчишкой впервые познакомился с Рози, меня поразило ее необыкновенное мастерство в висте. Я мог себе представить, как она играет в бридж, — быстро, смело и точно: хороший партнер и опасный противник.

— Вы бы удивились, если бы знали, какой тут поднялся шум, когда Тед умер. Я знала, что они его очень ценят, но никогда не думала, что он такая большая шишка. Газеты только о нем и писали и печатали его портреты и снимки Ферн-Корта: он всегда говорил, что когда-нибудь будет там жить. И что это он женился на той сиделке? Я всегда думала, что он женится на миссис Бартон Траффорд. У них так и не было детей?

— Нет.

— Тед хотел бы иметь детей. Для него был большой удар, что у меня после первых родов детей больше не будет.

— А я и не знал, что у вас был ребенок, — сказал я удивленно.

— Был. Потому Тед на мне и женился. Но мне пришлось очень тяжело, когда я рожала, и врачи сказали, что больше у меня ребенка не будет. Бедняжка, если бы она осталась жива, я бы, наверное, никогда не убежала с Джорджем. Ей было шесть лет, когда она умерла. Она была такая милая и красивая, как на картинке.

— Вы никогда о ней не говорили.

— Да, я о ней не могла говорить. Она заболела менингитом, и мы отвезли ее в больницу. Ее положили в отдельную палату, и нам разрешили оставаться с ней. Никогда не забуду, как она мучилась — кричала, кричала, кричала, и никто не мог ничего сделать.

Голос Рози прервался.

— Это ее смерть описал Дриффилд в «Чаше жизни»?

— Да. Я всегда этому удивлялась. Он тоже не мог об этом говорить, как я, а потом взял и все описал. Не забыл ни одну мелочь, даже те, что я тогда и не заметила, а вспомнила только потом. Можно подумать, что он был совсем бессердечный, но он не такой, ему было так же тяжело, как и мне. Когда мы ночью приходили домой, он плакал, как ребенок. Чудной человек, правда?

Это была та самая «Чаша жизни», которая вызвала такую бурю протеста, и именно смерть ребенка и следовавший за ней эпизод навлекли на Дриффилда особенно злобные нападки. Я очень хорошо помнил это описание. Оно было душераздирающим. В нем не было ничего сентиментального; оно вызывало у читателя не слезы, а скорее гнев при мысли, что такие жестокие страдания вынужден испытывать маленький ребенок. Невольно приходило в голову, что в Судный день господу богу придется держать ответ за такие вещи. Это был очень сильно написанный отрывок. Но если этот эпизод был взят из жизни, то не так ли было и с последующим? Он-то и шокировал больше всего публику девяностых годов, и его-то критики осуждали как не только непристойный, но и неправдоподобный. В «Чаше жизни» муж с женой (не помню теперь, как их звали) возвращаются из больницы после смерти ребенка — они бедные люди и живут в меблированных комнатах, едва сводя концы с концами. Они садятся пить чай. Уже поздно — около семи часов. Они измучены после целой недели непрерывной тревоги и потрясены своим несчастьем. Им нечего сказать друг другу. Они сидят молча, погруженные в горе. Проходят часы. Потом жена вдруг встает, идет в спальню и надевает шляпку.

«Пойду пройдусь», — говорит она.

«Ладно».

Они живут около вокзала Виктория. Она проходит по Бекингем-Палас-роуд, через парк, выходит на Пикадилли и медленно идет к площади. Какой-то мужчина перехватывает ее взгляд, останавливается и поворачивается к ней.

«Добрый вечер», — говорит он.

«Добрый вечер».

Она останавливается и улыбается.

«Не хотите ли зайти выпить?» — спрашивает он.

«Ничего не имею против».

Они заходят в кабачок в одном из переулков Пикадилли, где собираются продажные женщины и куда за ними приходят мужчины, и выпивают по стакану пива. Она болтает и смеется с незнакомцем, рассказывает ему о себе вымышленную историю. Вскоре он спрашивает, нельзя ли им пойти к ней. Нет, отвечает она, нельзя, но она может пойти с ним в гостиницу. Они садятся на извозчика и едут в Блумсбери, где снимают на ночь комнату. А на следующее утро она на автобусе доезжает до Трафальгар-сквер и идет через парк. Когда она приходит домой, муж как раз садится завтракать. После завтрака они снова идут в больницу, чтобы заняться устройством похорон.

— Скажите мне вот что, Рози, — начал я. — То, что случилось в книге после смерти ребенка, — и это произошло на самом деле?

Мгновение она нерешительно смотрела на меня; потом на ее губах появилась та же, все еще прелестная улыбка.

— Ну, это было столько лет назад, так что какая разница? Так и быть, скажу. Он немного напутал. Ведь это были только его догадки. Я удивилась, что он и это-то знал: я никогда ничего ему не говорила.

Рози взяла сигарету и задумчиво постучала кончиком по столу, но не закурила.

— Мы пришли из больницы точно, как он написал. Мы шли пешком: я чувствовала, что не смогу усидеть на извозчике, и у меня все внутри было как мертвое. Я столько плакала, что уже больше не могла, и очень устала. Тед пробовал меня утешать, но я сказала: «Ради бога, замолчи». После этого он не промолвил ни слова. Мы тогда жили в комнатах на Воксхолл-Бридж-роуд, на третьем этаже — всего только гостиная и спальня, вот почему нам пришлось отдать бедную малышку в больницу: мы не могли там за ней ухаживать. И потом хозяйка была против, да и Тед сказал, что в больнице девочке будет лучше. В общем неплохая была женщина эта хозяйка; когда-то она была проституткой, и Тед часами с ней болтал. Она услышала, что мы вернулись, и поднялась к нам. «Ну, как сегодня девочка?» — спросила она. «Умерла», — ответил Тед, а я и слова не могла сказать. Тогда она принесла нам чаю. Я ничего не хотела, но Тед заставил меня съесть немного ветчины. Потом я села у окошка. Я не оглянулась, когда хозяйка пришла убрать со стола: мне не хотелось ни с кем говорить. Тед читал книгу; по крайней мере, делал вид, что читает, но ни разу не перевернул страницу, и я видела, как на нее капают слезы. Я все смотрела в окно. Был конец июня, двадцать восьмое число, и дни стояли долгие. Мы жили недалеко от угла, и я смотрела, как люди входят в закусочную и выходят и как взад-вперед ездят трамваи. Я думала, этот день никогда не кончится, а потом вдруг заметила, что уже вечер. Все фонари горели, на улице было множество людей. Я чувствовала такую усталость, и ноги у меня как свинцом налились. «Почему ты не зажжешь газ?» — спросила я Теда. «Зажечь?» — спросил он. «Что толку сидеть в темноте?» — сказала я. Он зажег газ и закурил трубку. Я знала, что это ему помогает. А я просто сидела и смотрела на улицу. Не могу понять, что на меня тогда нашло. Я почувствовала, что сойду с ума, если буду сидеть в этой комнате. Я захотела пойти куда-нибудь, где светло и много народу. Я хотела уйти от всего, что Тед думал и чувствовал. У нас было только две комнаты. Я пошла в спальню; там все еще стояла девочкина кроватка, но я не могла на нее смотреть. Я надела шляпку и вуаль и переоделась, а потом вернулась к Теду. «Пойду пройдусь», — сказала я. Тед посмотрел на меня. По-моему, он заметил, что я надела свое новое платье, и, может быть, по тому, как я это сказала, он понял, что без него мне будет лучше. «Ладно», — сказал он. В книге он заставил меня идти через парк, но на самом деле было не так. Я дошла до вокзала Виктория и на извозчике доехала до Черинг-Кросс. Это стоило всего шиллинг. Потом я пошла по Стрэнду. Что я буду делать — это я придумала еще до того, как вышла на улицу. Вы помните Гарри Ретфорда? Так вот, он тогда играл в театре «Эделфи», он был там второй комик. Ну, я подошла к служебному входу и передала ему, что я здесь. Гарри Ретфорд мне всегда нравился. По-моему, он был не очень щепетилен и всегда довольно-таки свободно относился ко всяким денежным делам, но он всегда умел рассмешить и при всех его недостатках был на редкость хороший человек. Вы знали, что его убили на бурской войне?

— Нет, не знал; знал только, что он исчез, и никто не видел больше его имени на афишах. Я думал, может быть, он занялся каким-нибудь бизнесом или чем-то в этом роде.

— Нет, он сразу пошел на войну. Его убили под Ледисмитом. Я подождала немного, потом он спустился, и я сказала: «Гарри, давай сегодня гульнем. Как насчет ужина у Романо?» — «Хорошая идея, — сказал он. — Подожди здесь, как только спектакль кончится, я разгримируюсь и спущусь». Мне стало легче уже от того, что я его увидела; он играл бегового жучка, и мне было смешно даже просто смотреть на него в этом клетчатом костюме и шляпе набекрень, с красным носом. Ну, я подождала до конца спектакля, потом он вышел, и мы отправились в «Романо». «Хочешь есть?» — спросил он меня. «Умираю с голоду», — ответила я, да так оно и было. «Закажем все самое лучшее, — сказал он, — и наплевать на расходы. Я сказал Биллу Террису, что иду ужинать со своей любимой девушкой, и стрельнул у него пару фунтов». — «Давай выпьем шампанского», — говорю я. «Да здравствует вдовушка!» — говорит он. Не знаю, бывали ли вы в старину у Романо. Там было замечательно. Все актеры туда ходили, и публика со скачек, и девушки из «Гэйти». Хорошее было место. И потом сам Романо — Гарри знал его, и он подошел к нашему столику. Обычно он говорил на смешном ломаном английском, я думаю, притворялся, потому что знал, что это смешно. А если кто-нибудь из его знакомых оказывался на мели, всегда давал пятерку взаймы. «Как малышка?» — спросил Гарри. «Лучше», — сказала я. Я не хотела говорить ему правду. Вы знаете, какие странные эти мужчины: есть такие вещи, которых они не понимают. Я уверена, Гарри подумал бы, что это ужасно: что я пошла с ним ужинать, когда бедная девочка лежит в больнице мертвая. Он очень сочувствовал бы и все такое, но мне не это нужно было: я хотела смеяться.

Рози закурила сигарету, которую вертела в руках.

— Знаете, иногда, когда женщина рожает, муж не выдерживает, идет и берет какую-нибудь другую женщину. Потом, когда она об этом узнает, а она узнает до странности часто, она устраивает ужасные сцены, говорит, как это можно, чтобы человек сделал такую вещь, когда ей так плохо, и что это невозможно стерпеть. А я всегда говорю, что нечего быть дурочкой. Это не значит, что он ее не любит и за нее не переживает: ничего это не значит — просто нервы. Если бы он не переживал, ему ничего такого и в голову бы не пришло. Я знаю, потому что именно так я тогда себя чувствовала. Когда мы кончили ужинать, Гарри сказал: «Ну, что дальше?» — «А что дальше?» — спросила я. В те времена никаких танцулек не было, и пойти было некуда. «А что, если зайти ко мне посмотреть фотографии?» — говорит Гарри. «Почему бы и нет», — говорю я. У него была крохотная квартирка на Черинг-Кросс-роуд — две комнаты, ванная и маленькая кухонька, мы поехали туда, и я осталась там на ночь. Когда я утром вернулась домой, завтрак был уже готов и Тед только что сел за стол. Я решила про себя, что, если он скажет хоть слово, я ему устрою скандал. Мне было все равно, что будет дальше. Я и раньше зарабатывала на жизнь и была готова делать это снова. Я бы в два счета собрала вещи и тут же от него бы ушла. Но он только взглянул на меня. «Как раз вовремя, — говорит. — Я только что собирался съесть твою сосиску». Я села и налила ему чаю, а он продолжал читать газету. Позавтракали мы и пошли в больницу. Он так и не спросил, где я была. Не знаю, что он об этом думал. Он все то время был ко мне ужасно добр. Я чувствовала себя совершенно несчастной, и мне казалось, что я не смогу это пережить, а он делал все, что мог, чтобы мне было легче.

— И что вы подумали, когда прочитали книгу? — спросил я.

— Ну, когда я увидела, что он почти все знает про ту ночь, мне стало не по себе. Но что меня больше всего удивило — это то, что он вообще об этом написал. Я думала — чего-чего, а уж этого он в книгу не вставит. Странные вы люди, писатели.

Тут зазвонил телефон. Рози сняла трубку.

— О, мистер Вануцци, как мило с вашей стороны, что вы позвонили! Дела идут хорошо, спасибо. Ну, и сама хороша, если вам так угодно. В моем возрасте лишним комплиментом не брезгуют.

Она углубилась в разговор, который, судя по ее тону, носил шутливый и отчасти игривый характер. Я не очень вслушивался и, так как разговор оказался долгий, погрузился в размышления о жизни писателя. Она полна испытаний. Сначала ему приходится терпеть нужду и равнодушие; потом, достигнув кое-какого успеха, он должен безропотно принимать все капризы судьбы, которые с этим связаны. Он целиком зависит от ветреной публики. Он отдан на милость журналистов, которые хотят брать у него интервью, и фотографов, которые хотят его фотографировать; на милость редакторов, которые выколачивают из него рукописи, и сборщиков налогов, которые выколачивают из него подоходный налог; на милость высокопоставленных персон, которые приглашают его на обед, и секретарей всяких обществ, которые приглашают его читать лекции; на милость женщин, которые хотят выйти за него замуж, и женщин, которые хотят с ним развестись; на милость юнцов, которые норовят получить у него роль, и незнакомцев, которые норовят получить у него денег взаймы; на милость словообильных леди, которые просят совета в своих семейных делах, и серьезных молодых людей, которые просят ответа в своих литературных поисках; на милость агентов, издателей, антрепренеров, зануд, почитателей, критиков и своей собственной совести. Но есть у него одно возмещение. Что бы ни лежало у него на сердце — тревожные мысли, скорбь о смерти друга, безответная любовь, уязвленное самолюбие, гнев на измену человека, к которому он был добр, короче — какое бы чувство или какая бы мысль его ни смущали — ему достаточно лишь записать это чувство или эту мысль черным по белому, использовать как тему рассказа или как украшение очерка, чтобы о них забыть. Писатель — единственный на свете свободный человек.

Рози положила трубку и повернулась ко мне.

— Это один из моих кавалеров. Я вечером иду играть в бридж, и он позвонил сказать, что заедет за мной на своей машине. Он, конечно, итальяшка, но очень мил. У него была большая бакалейная лавка в Нью-Йорке, но сейчас он отошел от дел.

— А вы никогда не думали еще раз выйти замуж?

— Нет.

Она улыбнулась.

— Не то чтобы мне не делали предложений. Мне просто и так хорошо. Я на это вот как смотрю: за старика я выходить не хочу, а выйти за молодого в мои годы было бы глупо. Я славно пожила в свое время, и хватит с меня.

— А почему вы бежали с Джорджем Кемпом?

— Ну, он мне всегда нравился. Я ведь знала его задолго до того, как познакомилась с Тедом. Конечно, я никогда не думала, что мне удастся выйти за него замуж. Во-первых, он уже был женат, а потом ему нужно было думать о своем положении. А когда он в один прекрасный день пришел и сказал, что все пропало, что он разорен и вот-вот будет приказ о его аресте, и что он едет в Америку, и не поеду ли я с ним, — что ж я могла поделать? Не могла же я его отпустить в такую даль одного, может быть, без денег, — ведь он всегда был такой важный, жил в собственном доме и ездил в собственной тележке. Работать-то я не боялась.

— Я иногда думаю, что только его одного вы и любили, — предположил я.

— Пожалуй, отчасти так и есть.

— Не могу понять, что вы в нем такого нашли?

Взгляд Рози упал на портрет на стене, которого я почему-то до сих пор не заметил. Это была увеличенная фотография Лорда Джорджа в резной позолоченной рамке. Судя по внешности, он снялся вскоре после переезда в Америку — возможно, когда они поженились. Он был изображен по колено, в длинном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, и цилиндре, лихо сдвинутом набекрень. В петлице у него красовалась крупная роза, под мышкой он держал трость с серебряным набалдашником, а в правой руке — большую дымящуюся сигару. У него были густые усы с нафабренными концами, нахальный взгляд, и выглядел он высокомерным и важным. Его галстук был заколот булавкой в виде подковы, усыпанной бриллиантами. Он походил на трактирщика, который вырядился в свой лучший костюм, чтобы пойти на дерби.

— Я вам скажу, — ответила мне Рози. — Он всегда был такой образцовый джентльмен.

1. Командир ордена св. Михаила и св. Георгия. [↑](#footnote-ref-1)
2. Командир ордена Виктории. [↑](#footnote-ref-2)
3. Начало стихотворения Ст. Малларме «Лебедь». [↑](#footnote-ref-3)
4. А что это доказывает? (фр.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Герой‑любовник (фр.) [↑](#footnote-ref-5)
6. Прозвище знаменитой актрисы Лили Лэнгтри (1852—1929), слывшей одной из первых красавиц Англии. [↑](#footnote-ref-6)
7. Воздушный омлет (фр.). [↑](#footnote-ref-7)
8. Беллетристика (фр.). [↑](#footnote-ref-8)
9. Смертельный удар, наносимый умирающему из сострадания (фр.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Венера, мыслью всей прильнувшая к добыче (Расин Ж., «Федра»). [↑](#footnote-ref-10)
11. Покинутый (фр.). [↑](#footnote-ref-11)